



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

9-10 (446)

2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Игорь Булатовский. Каменные стихи	3
Нина Горланова, Вячеслав Букур. Белый кофе. Рассказ.....	10
Екатерина Симонова. «Я больше не знаю, что будет завтра...» и др. стихи.....	21
Андрей Тавров. Из книги «Рассказы о Стече».....	26
Алексей Слаповский. Ульрих и другие. Библиотека. Сосед. Рассказы.....	51
Катя Капович. «Не дай мне, Боже, знать слова другие...» и др. стихи.....	81
Анаит Григорян. Марфа и нечистая сила. Стихи.....	85
Василий Шевцов. Медленный свинг. Рассказ.....	92
Александр Карасёв. Из чеченских рассказов: Новостной сюжет. Безбашенный.....	104
Ирина Каренина. «От гомеровского пира, драгоценных вин...» и др. стихи.....	108
Сергей Слепухин. «Есть просветленная усталость...» и др. стихи.....	110
Олег Сон. Записные тетради. Вы ко мне писали... Николай Степанович. Некрасов Иоанна Божикова. Минуты молчания. Рассказы.....	112

ПЕРЕВОД

Украинская поэзия в переводах Марии Галиной:

Галина Крук. «Про женщину по имени надежда...».....	127
Марианна Кияновская. Из цикла «Вода»	128
Екатерина Бабкина. «А как липы запахло – тогда-то он и пропал...» и др.	129

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Борис Лихтенфельд. «Без царя в голове, без царя во главе...» и др.	131
Сергей Сдобнов. «не знал, что это уснувший дым...» и др.	133
Егор Мирный. «искрят клеммы – повторила катя...» и др.	134
Рафаэль Мовсесян. «январь. на столе неразбитый стакан...» и др.	136

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Виталий Амурский. Светослужитель. Заметки о К. Бальмонте.....	137
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Виктор Іванів. Прыжки головокниного cogito.....	145
Анна Голубкова. Внезапно рецензия.....	146
Владимир Коркунов. Незаменимость жизни.....	149
Борис Кутенков. А где здесь поэзия?.....	151
Юлия Крутицкая. Прощание с мороккой.....	154

КИНООБОЗРЕНИЕ

Иван Козлов. Побочные эффекты кино.....	158
--	-----

Игорь БУЛАТОВСКИЙ

Каменные стихи

*da gehäuft sind rings
Die Gipfel der Zeit*
Hölderlin. «Patmos»

Земля похрустывает корочкой
и раскрывается на той
странице-створке разговорчика,
за известковой запятой,

за аммонитом, после вводного
и обращения на «Ты»
к тебе, лицо собранья водного
и поземельной пустоты,

на той странице замусоленной,
на той, зачитанной до дыр
водой проточной, подневоленной,
грызущей твердый красный сыр.

Ты, говорят, земную книжицу
в гудящих пальцах разломил
и прописал большую ижицу
ее вязанкам трудных жил

и жил нетрудных, натрудившихся
и канувших в земной огонь,
земную воду, и отмывших всё:
и пот, и соль, и грязь, и вонь.

Теперь терпеть им снова засветло,
считая каменный песок,
и вверх без киров и без заступов,
под ветром жил, наискосок,

идти, наращивая мускулы,
к вершинам времени, туда,

Игорь Валерьевич Булатовский (1971), поэт, переводчик (с французского, идиша, немецкого и польского), эссеист, автор семи поэтических сборников, лауреат премии журнала «Звезда» (2001) и премии Губерта Бурды для молодых поэтов Восточной Европы (2005). Живет в Санкт-Петербурге.

где бесприютные корпускулы
войдут в них снова – навсегда,

где в них войдет вода невинная
и невинный сладкий хлеб,
и жизнь, теперь за смертью видная,
и корень «зем», и корень «неб»,

что в них сплетутся обращением
тяжелых, благодарных смол,
и щебетаньем, и прощением –
в один последний, первый ствол.

Есть музыка над вами, суки, суки!
Шерсть воздуха полна ее прозрачных гнид,
их выбирают сморщенные руки
тяжелых склеротичных аонид.

И каждую, младенческую, – к ногтю.
И щелкает... И в голове слышна
засыпанная паровозной копотью
по пояс – елисейская страна.

И каждый раз – в последний раз, и снова
в последний раз вам музыка звучит,
и каждый раз, не сдерживая слова,
в последний раз вам музыка звучит!

Я скажу тебе с последней...
О. Мандельштам

Лязгай жуть в трубе в час летний,
прямо в той
пережаренной «Котлетной»,
залитой

постным солнцем оптимизма
до краев,
где стекла стекает призма
в семь слоев,

где над супом плачет ложка
в три ручья,

и себя не жаль немножко,
сгоряча,

где раскатывают губы
над борщом
исрафиловы раструбы,
и еще-м-м-м

есть минута на послед-
нее «прочти»,
замыкающая бред-
ни «без пяти».

Тоска прекрасная, надплечная,
чуть-чуть звенящая тоска,
дощечка, солнцем искалеченная,
у пра-, у левого виска.

И так она обратно хочет выгнуться,
и так выгибается вся,
что тень ее болит в тупом углу лица,
до острого угла лицо слезя.

И катится зерно, и катится
в тоскующий подол земли,
и вот уже в цветочек платянице,
метелки воздух подмели.

Бог слабых сил, плечей сутулых,
живущий в ложечке груди,
дай воздуха, ты дхнул и сдул их,
и в этот раз не подведи;

бог всех начал скупых и трудных
и мелких полустертых букв,
бог жил натруженных, и – рудных,
последних слов и первых звуков,

бог бешенства и бог лишенства,
бог меда, молока и фиг
в кармане, блажи и блаженства,
и бог-дитя, и бог-старик,

бог-террорист и бог-сатирик,
бог умников и дураков,
и бог-историк, и бог-истерик,
и тот, что был, и – был таков,

но так и быть, еще немного
есть, иногда, возможно, вдруг
(дай бог), дай, бог, немного бога
чуть-чуть внутри, чуть-чуть вокруг.

Если бы воздух отчаянья был почище,
а мертвая вода – послаще,
если бы Кухня Духовной Пищи
пищу богов готовила реже,
ты разглядел бы в конце аллейки
двух трясогузок, хвостами друг к другу,
клювы – в стороны, герб шайки-лейки,
что подчиняется чистому звуку.
И никакому слову. И слово
стало бы звуком, полным и чистым,
к чему оно, впрочем, всегда готово,
но попадаетеся нам, речистым.

Умных лиц я больше в воздухе не вижу,
здесь природа к своему концу
подошла и всё размазывает жижу
дурьих слез по плоскому лицу.

Чем тебя обидели? Что у тебя отняли
ангелы, прежде чем сбежать, –
куколку тряпичную в лоскуточке шали,
в дочки заигравшаяся мать?

И куда они ее, где ее приставили
босоногой девкой в барский дом,
чтоб козе небесной ли, чтоб небесной краве ли
натирала вымя птичьим молоком?

Чтоб доила утром козье ли, коровье –
в звуковое чистое ведро,
что промыто до́светла говорливой кровью,
распирающей ребро.

Animula blandula vagula...

душка поблядушка побирушка
бедного тельца кидалачка
иди ты сама знаешь куда
в черную дыру японскую
там и шути свои шуточки

И эти липы, и эти тополи
над серой дорожкой, по которой шел
вдоль стадиона, где призраки хлопали,
если призраки забивали гол.

И солнце как-то так бедно рябило,
и в сандалетки набивался песок,
и маленькое синеватое било
большого времени било в висок.

Наверно, набегался и еще не отды-
шался, шальному пистону брат,
брат мячей, мечей, ничей, бубнящий оды
Играм, бу-бу, будто читая слова назад.

Что стоишь и всё глядишь на небо,
бедный, бедный гражданин земли?
Там, на небе, рифмы нет на «небо»!
Здесь, под небом, свет ночной зажгли...

Свет зажгли, а погасить забыли,
и горит везде забытый свет,
свет, везде забытый, клочья пыли,
колтуны планид или планет...

Что́ там, вечер или день, на стогнах,
ядовитый вагиновский день
или вечер в синеватых стеклах,
что рифмуют сбивчивую «тьень»?..

Лицо, лица, лицу, лицо, лицом, лице...
Кого ни посади на золотом крыльце,
кого ни позови – сапожника, портного
и доброго еще, и честного какого –
царевича, царя, советчика, врача –
все сядут на крыльце, ворча и гогоча,
работая свою нехитрую работу
и между делом колупая позолоту.

Случайное лицо, случайное число,
приветствую твое слепое ремесло!..

Там русский свет стоит в углу
за тихой ширмочкой китайской,
и два дракона на полу,
когда друг друга, там катаются.

Там свет еврейский, дикий свет,
лежит, разбросанный повсюду,
сбиваясь в клочья много лет, –
в густой подшерсток чуду-юду.

Там свет ничейный говорит
на улице одно и то же,
как будто вечный Вечный жид:
«Мне б только отдышаться, боже...»

Словарный ангел залетает сюда
на серых суффиксах, -ышках,
он в запасе, его оставили навсегда
в мальчишкиных книжках.

Это ангел историй, страшных, простых,
страшно простых историй,
где ходит ходуном полутораногий псих
по берегу моря

и стих полуторастрокий бормочет без конца,
подвывая дальнему грому:
«Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
йо-хо-хо, и бутылка рому!»

И мальчик следом сбивается с ног
и о чем-то спросить боится,
потому что за ним сквозь надплечный дымок
следит говорящая птица.

Тропический ангел галлонов и пинт,
на квинте сорвавший голос,
сжимает в зубах Капитан Флинт
серебряный Сильвера волос.

Хорошо о смерти говорить
в сорок лет хорошими стихами,
вечную подергивая нить,
ветчину свою некрупными кусками
нарезая на спокойный хлеб
дармового творческого лета,
задавать вопросы, ждать ответа
сколько влезет – полон хлев!

БЕЛЫЙ КОФЕ

Рассказ

Меж лиловых миров декораций они встретились: Георгий и Марта, главреж и будущий завлит. Кружево репетиции рвалось поминутно.

– Сцена – мировая гора, актеры на ней – боги!

А «боги» слушали и тряслись с похмелья.

Георгий сплетал рукой какое-то напряжение, будто хотел вытянуть из них вредные окислы:

– От вас должна идти сила к смертным!

– А в зал идет сила – я чувствую, – сказала Марта.

Знаю я. Отчасти ты, может быть, стукач. А другой частью ты хочешь ко мне прислониться.

Он вывел Марту на веранду – захотелось воздуху, после больницы часто кружится голова; через буфет, мимо Анны Феофановны, развертывающей перед внимательной гардеробщицей свою пьесу:

– С утра была я на изгалиции...

На воздухе – носом в небо – соловьино зарокотал о непросто-алкоголиках:

– ...Широков, который Макбет, широк – я бы сузил! Брал он отгулы на два дня, чтобы прочесть том Стругацких – в эти дни не ел... Зато леди!.. Так играет Аркадину! Задыхается от невозможности вернуться в молодость. Петров – который полный, даже с грудью – гениальный комик! Мой сын его в первый раз когда увидел – смеялся так, что порвал рот.

Пора брать быка за рога.

– Марта! Был я на могиле Пастернака. Небо сожгло сосну возле могилы! Молния ударила в подслушивающее устройство!

Она прошептала:

– Я из семьи сосланных.

Это ей велели сказать? Или, наоборот, надо радоваться? Или телефонная трубка наскрипела ей про мое письмо Солженицыну?

– Вас будет атаковать драматург с запоминающейся фамилией: Недобил! У него ремарки во всех пьесах: «медленно седеет», «медленно бледнеет». Говорите, что...

– Что мммедленно седею...

Нина Горланова родилась в деревне Юг Пермской области. Окончила филологический факультет Пермского университета (1970). Работала лаборантом в Пермском фармацевтическом и политехническом институтах, младшим научным сотрудником в Пермском университете, библиотекарем в школе рабочей молодежи. Методист в Доме пионеров и школьников. Автор многих книг прозы и публикаций в толстых литературных журналах («Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Урал», «Волга» и др.). Замужем за писателем В. Букуром. Живет в Перми.

Вячеслав Букур родился в 1952 году в городе Губаха Пермской области. Окончил Пермский университет (1979). Работал редактором в Пермском издательстве, сторожем. Сотрудник газеты «Губернские вести». В соавторстве с Н. Горлановой пишет прозу, публикуется в толстых литературных журналах. Член Союза российских писателей. Живет в Перми.

Ничего не значит ни ее юмор, ни евразийство в лице, а вот крылышкует в каждом движении – не оторвать глаз...

А сегодня видел во сне, как сошел с ума – оказался босиком на снегу и без голоса... Однако, вернемся к этому сну после, через сорок лет, когда Георгий вспомнит его в подробностях.

А пока идет семьдесят советский год. Читатель, если ты еще существуешь, вот что мы тебе скажем: ты снова попал в Фиалохолмск.

Наш Георгий Быков уже написал письмо Солженицыну! В это время власть всю свою силу кашеевой напала на Александра Исаевича. И главреж написал ему: предлагаю место завлита. «Прежний ушел в Псково-Печерский монастырь, пока послушник Ярополк – редкостное событие по нашим временам, но в Фиалохолмске вообще случается... Картошка у нас своя, мед дешев. Если тушенка Вам надоест (11 ящиков), привезу свежатины: у премьерши двоюродный брат в деревне».

Письмо, конечно, перехватили. Реакция была поэтапной. Сначала Георгия вычеркнули из очереди на машину, затем – из очереди на расширение жилплощади и выкинули из планов Фиалоздата его книгу о житье-бытье городского театра ...

А через неделю на Георгия с той же силой кашеевой напали «хулиганы» – у входа в театр, очень какие-то крепкие и плечистые. Они избили его назидательно. После удара и звона в голове все прочитанные книжки пробежали перед глазами: самиздатский Авторханов, кодекс строителя коммунизма, опять-таки самиздатский «ГУЛАГ», ну, и так далее...

В больнице не мог ничего вспомнить... например, перед тем, как написать письмо ... что-то было... было... но что? Наконец всплыло: к нему из Алма-Аты приехала жена друга-казаха, который сделал карьеру, и тут ему предложили быть осведомителем. Он сошел с ума. Говорил загадочными фразами.

– Например? – спросил Георгий.

– Холодец улыбнулся.

Всю неделю Георгию снилась розовая глина потрескавшихся губ гости-одноклассницы...

После больницы в театр повалили завлиты. Они выглядели еще более нормальными и советскими, чем все советские люди, и Георгий поэтому их узнавал. Это длилось полгода. Сейчас он принимает на испытательный срок Марту с ее прекрасным заиканием.

В тот вечер в Фиалохолмске драматург Недопил отмечал юбилей. После ресторана вся писательская братия почувствовала, что недопила, и завалилась в театр. Выделялась пятерка потомственных бражников: поэт-почвенник Сухих (он рифмовал: бывалыча – Макарыча), поэт-модернист (орхидея – сверхидея), фантаст с псевдонимом Уфошин, детский писатель в резиновых сапогах и кроссвордист Липов (*Тройной набор зубов – вот эти зубы я бы взял на роль Сейтона, оруженосца Макбета*).

В писательских очах таилась хитреца, которая образовалась от битвы с государством. И только Липов настораживал: смотрел прямо и говорил все, что думает.

Анна Феофановна вплыла с подносом, а на нем – трепетные бутерброды, на которых укроп еще помахивал перышками. Пожилая краля пропела:

– От нашего буфета – вашему.

У Марты такие полные губы, что перышки укропа прилипают.

– Гуманоиды хочут стаканоиды! – азартно левитировал фантаст.

Сначала шла водка, а потом вошел поэт-сатирик с коньяком «Белый аист». В советское время у него всегда был поднят воротник пиджака, а в постсоветскую эпоху он станет ВАЖНЫМ лицом, и сразу последуют перемены: идет – лицо, как асфальт...

А пока у него было жаждущее нормальное лицо. Мало ли в Фиалохолмске таких лиц!

Юбиляр – в его чертах запечатлено, что в юности перед ним маячил вопрос: выбрать бурную жизнь бандита или честного человека – говорил громко, как на площадях:

- Наше время настанет! И пьесы полетят по белу свету, как сейчас этот «Белый аист» полетит.
- До полного разбегания галактик! – царапал воздух фантаст Уфошин.

Все перекинулись на коньяк, как пожар.

И «Белый аист» полетел, слегка царапая пищевод и неся на молдавских крыльях застарелый спор: плазменная дуга между сценой и зрителем... нет, литература важнее, потому что читатель – он и актер, и режиссер!

- А театр первичнее, потому что у костра с каменными топорами пели...

Это уже набежали актеры с наклеенными злодейскими бровями и актрисы с изредка встречающимися элементами одежды (они были ведьмы на спектакле). Им махали:

- Сюда, сюда, пузыри земли!

Марта впитывала все до последнего атома.

– Играй старушку-рассыпушку! – напомнил Георгий актрисе с тайной. – А ты много бегаешь по сцене, бесцельно размахивая харизмой! (уже красотке с челюстью).

Почвенник «Бывалыча-Макарыча», влагой напоен, изронил слово заветное:

- Ваш формализм уже вот где! Денег-то в театральной кассе нет!

Затем он время от времени доставал из кармана какие-то железяки и произносил:

- Вот у меня в кармане оказалось два болта. Если болтов не делать, то как жить?!

Иногда он поднимал еще одну тему: «Надо робятам платить»...

Георгий его отстранял: «Не мешай». Галстуки у всех «робят» уже были на боку.

Актриса с тайной взяла гитару и запела «Отчего судьба...», Липов сразу:

- Это не вопрос!
- Помните, на девятой странице у Станиславского...
- Не помню!..

А «Орхидея-сверхидея» – волосатый корнеплод поэт-модернист – вжимает красотку с челюстью в стену и читает ей: «Ты помнишь форель из озера Рица?»

Она думает: ну, наконец-то нашелся один страстный! Но потом поймет свою ошибку.

Георгий вспомнил, что он не только участник питья, но и режиссер. И гаркнул:

- Хватит за галстуки таскать друг друга! Оставьте в покое художника сцены!
- Да, я гений пространства!

Гения звали по отчеству – Измайлович (прозвище: Изнанович), столько стекол перебил, наконец раму к стеклу подтесал, но оно треснуло. Я хотел уволить, но Недобил вспомнил, что в его деревне в окнах много треснутых стекол, декорации будут в духе жизни. У гения сцены такие разговорчики: все книги пишутся на Лубянке, этот чай делали на Лубянке... и понять нельзя, что это – провокация или юмор.

– Хотел повеситься, когда начал лысеть, – открыл сокровенное Липов... – Георгий, сколько ты будешь ставить эту ерунду – Шекспира?!

Для тебя Шекспир – ерунда, потому что там нет кроссвордов, вот если б после каждого акта прилагался кроссвордик... «Утопия безумная девушка – шесть букв... Косящий под дурака принц – тоже шесть букв...»

Последнее, что помнил Георгий: третья ведьма (Валюня) танцевала фламенко с веером... под шелканье заводного черепа (его подарил глава местного союза писателей, который побывал в Венгрии, и ему подарили танцующий череп там). А фантаст фантазмировал о своих похождениях, называя их адюльтерчиками. Секс – всему голова, твердил Уфошин.

Нет! Еще вспомнил предпоследнее – кто-то сел на косметичку Марты и раздавил ее.

- Разбился ацетон для снятия лллака – вся косметика расстроилась.

Георгий очнулся в кабинете, и словно растворенная косметика жгла его изнутри... на полу валялся разбитый бюст Станиславского... А ведь врач при выписке предупреждал: алкоголь исключить!

Братия парила в облаке сигаретного дыма и искала понятно что. Видимо, от этого и пострадал классик театра. Уцелевшая половина лица его говорила: «Все еще не верю».

– И поднял он голову из залежей икры... (шутка советских времен).

– От этого «Белого аиста» сушняк бьет.

Георгий вспомнил про бутылку сухого за диваном.

– Ссяку не пью! – (Бывалыча).

О сухом вине слишком по-бахтински! А попробую-ка прийти в себя... так, не получилось...

Ничего более в режиссерском логове не нашлось. Дожить до открытия живительных вино-водочных отделов? Как?! Время открытия этих оазисов сияло где-то в прекрасном, но недостижимом будущем.

Сухих (Бывалыча) бубнил невнятно:

– Я от мачехи ушел, я волков видел – стаи!

– Ты, Мокрых, не туда рулишь! – и сатирик захохотал как очумелый.

Наши почвенники думают, что народность – это много выпить... Но... на себя посмотри!

Зато Уфошин залетал, котья в разных направлениях:

– Едем в цирк!

– Да, в цирк! – вскинулись все, кроме Георгия. – В буфет! В буфет!

– Зачем?! Сейчас все закрыто.

– Открыто с пяти утра! Всегда есть белый кофе!

– Водка в кофейных чашках – так называется для маскировки.

Вызвали два такси. Георгия под белые руки закинули на заднее сиденье. Пока ехали, главный режиссер спрашивал, не разыгрывают ли его – чтобы в пять утра можно опохмелиться... у Гегеля об этом не написано...

И в самом деле – буфет в цирке работал! Белый кофе оказался в счастливом наличии. Они все как-то нехорошо воскресли, хотя захорошело. Опохмел – замена ожидания рая ощущением ложного бессмертия. Чего там ожидать: выпил – и на какое-то время бессмертен.

Плавню тронулся и начал набирать скорость разговор, хотя еще руки двигались какими-то юзами, поднося ко рту приобщение. Но ничего, что руки беспорядочно ходят: это биение самой жизни.

Липов повторял:

– Ну что, театральная нахалень, повеселели?!

Детский писатель с трудной фамилией и судьбой (Закоротных? Межгородных? что-то такое) снял резиновые сапоги и поднял руку, как на собрании:

– Представляете: когда Христос ворвался в этот темный мир со своей идеей добра и любви, какое это было необыкновенное событие! – (В наше время он известный детективщик Громокубов).

– А я на днях листал «Чукоккалу»... Суки, какую страну загубили! – «Орхидея-сверхидея» пустил ароматную слезу (Позднее станет скандально знаменитым фиалохолмским порнобароном. Его издательство так и будет называться, без всяких причуд: «Заветные сказки»).

– В Дремучинск поеду, маму давно не видел! – Это сатирик, он всегда называл родной Гремячинск – Дремучинском. (Напоминаем: станет важным политическим веществом.)

– Мы теленка у коровы зарезали, а она учуяла и погналась за мной. Ревет! Я на стог сена, а она вокруг бегает, – (Бывалыча. Останется самим собой).

– В картишки? – подплыл Уфошин.

– Дурак, песню испортил.

Георгий сел на своего конька: у Вяча Иванова прадед – казах и надо проверить: у князя Игоря мать – не половчанка ли? А половцы – это пра-казахи.

Все переглядывались: крепко у него в голове поселились тюркские тараканы! В то же время многие уже привыкли, что Георгий – это сложное сочетание ума, таланта и придурковатости. Знает пять языков: якобы учитель у них в Казахстане сказал шестиклассникам, что некоторые так способны, так способны... что выучат по три языка, некоторые по пять, а парочка ребят одолеет семь.

– По слухам, у Пушкина няня Арина из кипчакских кровей. А ведь ба-альшее влияние оказала на Пушкина.

– А у тебя, Георгий, сколько казахской крови?

– Осьмушка.

– А как же ты говорил, что в четыре года играл мальчика на Урале в Кировском – в «Чио-Чио-сан»? Когда они были в эвакуации.

– Так родителей арестовали, я у тети жил... а потом маму выпустили после смерти усаха – мы вернулись к ее родне в Казахстан.

Сам не знает Георгий, что его толкнуло позвонить в газету «Местный вариант»! И зачем он рассказал про цирковой буфет в пять утра, про белый кофе! И закончил железно:

– Константин Васильевич, пора прикрыть этот рассадник!

Константин Васильевич долго чесал репу, похожую на редиску. Во-первых, он парторг. Во-вторых, этот чудак на букву М, по слухам, послал письмо Солженицыну... или Сахарову? А тут, того и гляди, стукнет в «Народный контроль».

Назавтра вышла статья. Начало смелое: «Любимые вопросы: что делать, кто виноват, можно ли есть курицу руками»... В конце получился вывод: если не убрать один буфет в цирке, в городе возникнет алкоголизм

Подписано неким Пустосмеховым! Ясно: редактор газеты сам посещал буфет в цирке и не мог подписаться серьезно. Этакий элегантный кукиш.

Через день «Белый кофе» закрыли... а потом много раз, мучаясь по утрам, Георгий хвостато клял себя за это!

Уже на другой вечер в театр заявила писательская братия. Недо́пил вручил ему заводной прыгающий череп:

– Мементо мори – и не болтай лишнего!

– Тыква ты перекошенная! – нелюбезно сказал сатирик. – Я не говорю, что ты дурак, но ты сам это знаешь. Был мужчина, а стал мужчинка... Фрр!

Странные междометия: фрр, а также нро и цым.

– Музу обменял на пузу! – начал детский писатель и говорил еще долго.

После всех этих обвинений Георгий попытался унять накал страстей:

– Можно без пафосятины? – он замахнулся, словно горящей головней против волков. – Накурили!

Сигаретный дым, настоящий по-платоновски (не Андрей Платонов, а философ Платон!), аж до самой идеи смрадности, едва просекался лучами света. И тут примчалась Валюня, гоня перед собой волну морозных духов. За нею в кабинет стройно вошли артисты. Третья ведьма из «Макбета» посмотрела на главрежа – словно на полметра в землю вогнала. Потом артисты с писателями запереглядывались: кто же даст пощечину. И даже как-то друг друга поощряли взглядами: мол, пора нам возратить достоинство! На этих взглядах все устали и иссякли...

Правда, ходили потом по городу слухи, что кто-то дал по морде кому-то. Оказалось, что это жена мужу, но не Георгию и не за то.

...Да, у Георгия была, разумеется, жена. Он звал ее дорогая, а еще Нежданно-Негаданно (Надежда Геннадиевна). Она украинка, и как пройдет – будто галушками одарит (кацапская актерская шутка), но носила русские шали, рассказывала про себя – почти как поэт-почвенник Бывалыча:

– Я на фольклорной практике в красных носках вышла черемухи поесть, а бык за мной погнался...

Неужели и жена посмотрит так, словно я чуж-чужанин?

...В тот вечер он пришел домой со слипшимися пельменями, протянул ей:

– Вот, Нежданно – моя-Негаданно...

Жена сразу стала их тушить в сметане. А что еще можно сделать с ними? Заявила она нежданно-негаданно:

– Я тебя понимаю! Ты об артистах думал – все просчитал, они и без того много пьют, а теперь, когда узнали про буфет... теперь еще сильнее могла грянуть буря, то есть запой.

Георгий сначала отнекивался:

– Дорогая, это не я все просчитал, это подсознание.

Восьмилетний Леша уже спал, но услышал голоса и вышел на кухню.

– Знаете что – а мы в Солнечной системе живем! – сказал он.

Отец обнял сына:

– А сейчас спать.

Да, помнить про солнце, есть жизнь, впитаться в нее и дальше ставить, ставить... Булгакова!

Жена достала домашнюю вишневую настойку.

...и ставить Чехова, его «Вишневый сад»...

– Так выпьем же за то, чтоб в нас всегда находили, что любить! – Георгий поднял бокал, но не чокнулся (жена верила в приметы: денег не будет, если с мужем чокаяться... хотя они годами экспериментировали: и чокались, и не чокались, а денег не прибавлялось, но и не убавлялось).

В общем, он ухватился за слова жены и стоял на этом потом годами! Якобы думал об артистах. Но однажды устыдился и сам себе сказал: не думал ты о них – ничего не просчитывал. *Бухгалтер Солнечной системы...*

Кстати, на сторону жены встал Липов. И с ним Георгий сделался потом не разлей вода.

Надолго все это обрушилось. Но со временем презрение артистов полиняло, и из него вылезло сочувствие:

– Тебя сломали... после письма Солженицыну!

– Да поймите вы: ради театра я... чтоб артисты меньше пили! Меня когда ставили главным – говорили: верят – я добьюсь трезвости...

– А людям что делать – как быть без белого кофе?

– Привыкнут!

– Как можно привыкнуть?

– Привыкли же к тому, что с семнадцатого года нельзя поехать в Париж! – повторил Георгий чьи-то слова.

– Если б привыкли, не пили бы все, – парировал сатирик.

Орхидея-сверхидея добавил:

– Как сейчас помню: на втором курсе в распивочной я встретил преподавателя по истории КПСС. Он приветствовал студента ленинским стилем: «Что, товарищ Черепанов, винца решили выпить? Очень правильное решение!»

И лишь буфетчица Анна Феофановна красиво колыхнулась:

– Я черного слова не слышала от мужа, потому что не пил. «Ой, шут возьми!» говорил – вместо «черт». И вам, Георгий Валерьевич, ничего не скажу никогда...

И она еще раз колыхнулась, веря, что кто-нибудь обратит внимание на залежи страсти и заботы, которые до конца не успел разработать покойный муж. А уж если обратит внимание, то позабудет навсегда о смертельной жидкости. Милый Петенька позабыл, пока жил!

С детства у Георгия было ощущение, что он больше мира, что из него высовывается, не вмещается... сбоку еще что-то торчит... и даже после нападения «хулиганов»! А теперь стал мал, словно усох внутри себя...

Кажется, это всем видно.

Пришло в театр анонимное письмо: «Водка сейчас – наша национальная идея!»

Да, Георгий понимал, водка – в подтексте «живая вода», которая воскрешает.

– Артисты на сцене должны быть трезвыми, – продолжал твердить он.

– Сейчас я такое скажу, что ты сразу протрезвеешь! – в ответ закричал художник и нехорошо улыбнулся. – Художнички думали-думали и надумали: ты не буфет закрыл! Ты закрыл нам жизнь.

Пробрало до яиц.

– Это уж слишком! Ты точно Изнанович! Глаза подернулись пленкой агрессии, – пробовал бороться за себя Георгий. – Остановись.

Но не помогло. Измайлович-Изнанович продолжал:

– «Мастера» поставить мечтаешь? А кто у нас дьявол? Падший ангел... Сначала ты на подвиг пошел, написал Солжу, а потом донес на бар... закрыл нам опохмел...

«Не все ангелы пали», написала в своем ежедневнике Марта. Зачем? А тоже искала ответ: почему ее шеф так поступил. Некрасивый, но прекрасный – нос длинный, борода беспорядочно-клочковатая... а вместе получалось что-то возвышенное, зверски-интеллектуальное выражение лица было у него. И вдруг поблекло, стали зубы выделяться – они живут своей жизнью...

В этом платье она походит на расширяющуюся вселенную: струи дымчатого газа несутся во все стороны от талии и плеч.

Почти месяц Георгий носил руку на перевязи, чтобы ни с кем не здороваться. А то что выходило: он руку протягивал, а в ответ – презрение... Потом актеры как-то устали и сами стали прорастать рукопожатиями навстречу.

Я все чаще стал на сцене отделять монологи друг от друга вспышками темноты. А тон всезнающий оставил. «Так нельзя!» – не говорю. А уже обтекаемо: «Ты вытворяешь, а нужно играть».

Но еще год и даже больше ему все напоминало скандал. На двери соседнего подъезда кто-то мелом написал: «Здесь живет черный пионер».

Хорошо, что не «черный режиссер».

Когда Георгий стал думать, что *эпизодишка* уже позади, к нему из пединститута гриновед пришел... когда-то он играл у Георгия в народном театре.

В те годы за *мейхольдистство* Георгия гоняли из клуба в клуб. Вызывали на заседания отдела культуры райкома, и красавица – идол комсомольский с говорящей фамилией Бурева – цыкала жемчужным зубом и медленно говорила:

– Это модернизм. ЦЫК. Этот Мейерхольд... ЦЫК.

Через год он выпустил спектакль по Островскому «Мудрец и простота» – победил во всесоюзном конкурсе, и ему предложили возглавить городской театр.

Слышал: не так давно гриновед защитил кандидатскую. С годами лицо его настоялось, как хорошее вино. Был с робкими глазами, переходящими в слабоумие, поэтому думал, что работает под Смоктуновского. Впрочем, небездарен. И ничего хорошего это лицо не предвещало. В каждом глазу по оптическому прицелу:

– Я сейчас член городской комиссии по культурному наследию...

– Интересно, когда человек говорит о себе, что он – член...

– Не перебивай. Ты историческое место закрыл!

– А помнишь: один раз ты посоветовал Валюне выпатить челюсть, изображая страсть? Так вот не надо ничего изображать!

– Это ты изображаешь... у кого кольцо серебряное с надписью «Искусство жить – это искусство»?

– А твоя жена! *(Ну что я несу, при чем тут она?)* Причесывается просто, но, как знаток античности, я-то понимал, что под Венеру Милосскую.

– Ты кончился, Георгий! Я пришел сказать тебе... Скорее ставь Вампилова или «Поутру они проснулись»... что-то по-мейерхольдовски... ты стал пошляком, пойми!

– Когда Маяковский подал Шостаковичу два пальца, тот в ответ подал один. Так вот: я протягиваю тебе ноль пальцев! И до свидания.

Театр выехал на гастроли по райцентрам, и это отчасти помогло Георгию развеяться. Про жену его артисты говорили: смотрите, чтоб она не купила шаль. Зашли в магазин, а Нежданно-Негаданно сразу:

– Смотрите – какая шаль!

Купила шаль. Типичная украинка...

И тут машина, резко затормозив, мягнула, как мартовская кошка. Чуть не сбила.

– Ездюки, – обругал кто-то водителя.

У Георгия слетел берет.

Вечером был день рождения Широкова. Именинник произнес тост:

– За простые слова и простые радости, которые не так уж и просты.

– Медленно бледнею, – пошутил Георгий и начал немедленно сесть.

Через месяц он попросил Марту найти ему у Данте цитату про любовь. Она зашла к нему через час:

– Любви у меня столько!

Он закрыл дверь кабинета изнутри и стал жалобно целовать ее руки... о чем рассказал после Липов:

– Проблемы встают в полном смысле этого слова...

– Рафаэлески – соблазнительный тип женщин, – ответил тот.

Хотя он по-лошадиному перебирает губами, но как кроссвордист знает почти все.

Вначале Георгий обдуманно скрывал измену. Он с работы всегда приходил слева. Так взял за правило вообще всегда с левой стороны приходить, даже из магазина, который расположен справа от окна. Затем сломал пылесос, чтобы в воскресенье выносить ковер хлопать и там из автомата перекидываться с Мартой по телефону.

Вдруг ему приснился сон: мама наряжает елку для... пассажирского поезда, который ходит мимо ее дома. Он позвонил. Маму на скорой увезли в больницу. Она успела сказать только:

– Бронхитище у меня.

Он полетел домой, но опоздал.

Эх, мамочка, говорила бы «бронхитик», чтобы болезнь знала свое место...

На кладбище мужчина с индийским лицом подошел к Георгию:

– Ирустик пальцы с инструмента снимает – словно звуки музыки вытягивает!

– Вытягивала...

Да, многие звали ее так: Ирустик. Музыка, как жирный фломастер, подчеркивала все в доме – словно он жил в голливудском фильме. С тех пор в спектаклях мало использовал композиторов. Но это ничего не меняло: музыку не очень любил, а мать любил за высокие стремленья и жалел за земное заточенье... Говорила бабушка, что отец упал в обморок, когда увидел ее – Ирусика – красоту... потом оправдывался, что просто был с похмелья тогда...

На поминках показывали документальный фильм: Ирустик играла (Рахманинова, конечно) в городском саду. Потом – все кричали, хлопали, плакали, и она вся в кипении сирени на фоне чугунной решетки... На ее лице читалась беспрерывная внутренняя жизнь: вот она ушла в себя,

вот она выглянула из себя и обрадовалась тому, как хорошо ее слушают... А ее лопатки, как две боевых секиры! Вспомнилось: когда ее довели в консерватории, она послала директора на три буквы. Тогда и уволили ее на пенсию...

Приехав домой, Георгий все рассказывал не жене, а Марте. В ответ она про могилу своей матери:

– Пришла и повстречалась с дятлом. В июне. Была годовщина. В глубине кладбища разрослись деревья, тенисто и хорошо... Вот я сижу за столиком и слышу стук. Подняла голову, а дятел рядышком на дереве стучит клювом. Красавец – в красной шапочке. Так мы с ним вдвоём и поминали маму ещё с полчасца.

Вечером Нежданно-Негаданно спросила:

– Ты в порядке?

– *«Никогда Штирлиц не был так близок к провалу»... В наклоне головы у жены что-то упрямое, а не кроткое. А что, если уйти совсем?..*

На другой день он переехал к Марте. Они оба тайно крестились и обвенчались.

И снова к нему приходил гриновед. Блестя бледным черепом, говорил все то же:

– Вместо того, что поставить Шукшина, ты ушел от жены! – еще он изобразил руками весы.

– Злая шея выдает.

Эта волшебная мешковатость костюма не покупается в магазине. Сшито у дорогого портного. Зачем он ходит? Завидует?

– После свадьбы фатами не машут, – загадочно закончил гриновед и ушел не прощаясь.

Тут с Нежданно-Негаданно произошло неожиданное и негаданное: на даче крот вырыл царские золотые. Раньше кротов не было, а вдруг появились... соседи ставили ветряки, чтобы распугать их, а она – в печали после развода – не поставила ветряк. Все кроты сжались на ее участок и наградили. Много они золотых вырыли! Столько, что выплаты изумили всех. На эти деньги Нежданно-Негаданно купила квартиру в Москве, а потом с сыном эмигрировала в США. К иным светилам, так сказать... сын ведь был помешан на идее свободы! Он в пять лет спрашивал:

– Что такое свобода, папа? Это когда можно воздухом дышать?

А в четыре года сказал:

– Свобода – это когда тебя освободят из плена.

От Марты Георгий тоже однажды попытался сбежать – к одной манекенщице. Она такая выскокая, что взгляд уставал скользить по ней. Плотные коротышки вроде Георгия чувствовали себя с ней альпинистами перед восхождением.

И тут ангел-хранитель повел себя совсем не как ангел: развернулся и как даст в ухо светоносным кулаком! Голова у Георгия загудела, как мотор. Это был микроинсульт.

Потом еще Липов заметил про манекенщицу:

– Из ее рта можно четыре сделать... если с холодной тыквой посмотреть.

И как отрезало.

Каждый раз, когда Георгий хотел согрешить, голова начинала гудеть, как будто по ней опять хватали. Так прошло еще два микроинсульта.

В эпоху перемен из режиссеров Георгий ушел. В правозащитники. Это случилось после встречи с Солженицыным. Тот заранее дал телеграмму в Филадельфию. Рейтинг Георгия повысился – он стал баллотироваться в гордому. На встрече с избирателями рассказывал о переписке с Александром Исаевичем. Тут врывается полубомжовый интеллигент:

– Не слушайте его! Этот подлец написал донос! Статью в «Красные холмы»!

– В «Местный вариант»!

– Неважно. После этого кафе-бар в цирке закрыли. Эту точку мы называли «Белый кофе»! Она спасала нам рассудок! Потом нельзя стало грамотно опохмелиться, и возникли сложности биографии.

Из зала закричали:

– А теперь еще этот сухой закон!

– Все против человека!

И не прошел Георгий. Его соперник – гриновед – успешно был избран.

Марта преподавала для души в институте культуры, а деньги зарабатывала тем, что писала книги за других – купила новую квартиру. Правда, в банке она ничего не понимала – во время сделки.

– Последний раз так я чувствовала себя на уроке физики.

Юристка повторяла:

– Вы нас загоняете в угол, вы нам руки выкручиваете.

Риэлтор кивал на Марту: да посмотрите на эту женщину, она литературовед, специалист по Эрдману – разве она способна вас кинуть! У той в глазах запрос: многих ли кинул Эрдман?

Перед последней реанимацией Георгий ворвался на заседание врачей, выломав дверь:

– Суки, вы будете меня лечить или нет?!

И упал, облив все кровью...

В новой квартире Марта наглухо заблокировала Георгия: к телефону не зовет, друзей домой не пускает. А он уже стопроцентно слепой, сам никуда выйти не может, ослабел. Но и Марту тоже можно понять: случись что на улице – как его тащить домой? Да еще выпивает с приятелями. Но ему-то как терпеть такую жизнь растительную? Когда он уходил от первой жены к молодой, думал, что сорвал банк: красивая. И на вид, и на ощупь приятная. А теперь он ее не видит, да и с ощущениями проблемы.

Липов и Широков долго наблюдали за передвижениями Марты. Составили график, она, на счастье, очень пунктуальная. И когда она пошла на два часа в парикмахерскую, они позвонили в дверь, взяли Георгия под руки и увели в кафе. Хотели, чтоб он встретился с Нежданно-Негаданно. Она приехала в гости и хотела со всеми увидеться. Была с мужем Рустамом.

– Сколько зим, сколько лет!

– А так же часов и минут!

– А уж сколько секунд...

– Эмигранты о наших именах: имеются Шурик и Евсей, но по убеждению эмигрантов, это не имена, а варианты чихания. Говорят: не совсем удачная попытка удержаться: А-а-ап-шурик! И чих на полную катушку: Е-ффф-сей!

Липов после каждой фразы Нежданно приговаривал:

– Человеческая комедия.

– Как Ваня?

– Он теперь Доктор Ну, так его в школе зовут, всех понукает. Живет в Питере, физкультуру в старших классах ведет. И ба-альшой знаток женской красоты!

Жена, жена, я опоздал на целую жизнь...

– Бок затек, – стонал Липов, но держался за лоб.

– Бокал – от слова «бок»? – спросил Широков.

– Муха летает, – говорит Рустам официанту.

– А что я могу сделать?

– Снайпера вызвать, – подсказал Георгий.

Внезапно жена стала говорить, что в России жизнь лучше.

– О чем ты говоришь! Одеваемся из секунд-хенда...

– У нас все «зеленые» так одеваются, это называется винтаж. Депутата Европарламента показывают, как он покупает в секунде, а потом в этом костюме – на депутатской трибуне.

– Ну и как устрицы? – спросил Липов.

– Как вкусные сопли.

Направляемая тихим лучом – бывшая жена – вспомнила обратное: за все время в эмиграции ни разу не отключали в доме воду. А здесь в гостинице два пьяных слесаря в три ночи сбивают кувалдой подвальный замок – ключом не могут открыть. Отключали всякую воду за сутки два раза....

– Одноклассница из Испании приехала. Они там на природу выбрались – музыку громко включили. Домов вокруг нет, откуда полиция узнала? Но примчалась и сказала: «Здесь пролетают дикие утки, сейчас у них период размножения. Вы можете их спугнуть» (Широков).

– Да... Трудно представить, чтобы наши милиционеры озаботились утками. Разве что в смысле закуски, – острил Георгий.

– А Марта как?

После минуты молчания Липов решил отчасти ответить:

– Свою книгу кроссвордов принес ей подарить, а она ее пролистала и как на пол бросит! Она редактировала пару страниц, а я не упомянул ее фамилию.

– А ты – Георгий? Казахов продолжаешь искать?

– Когда еще видел... изучал, есть ли у Корнилова казахские корни... у генерала Лавра Георгиевича Корнилова. Он – родом из Карагандинской области, мать – казашка!

Рустам внимательно слушал.

Завелся спор о менталитете.

Рустам говорил, что все – из истории народа.

– А я думаю: тайна есть... как и в личности – тайна выбора много значит. Почему русские режут хлеб к себе? Какой историей можно это объяснить?! – горячо возражал Георгий.

Почему я донес на «Белый кофе»? Мировая история молчит...

Друзья подарили Георгию очередной мобильник – там вбит только один номер – Липова. На тренировав друга, они смело повели его навстречу грозе. Из-за двери доносились молнии голоса Марты.

16 сентября 2013 г.

Екатерина СИМОНОВА

я больше не знаю, что будет завтра.
у Плотинки продают ландыши, все так же идет дождь.
у мокрых цветов всегда такой запах,
как будто ты не совсем живешь,

как будто повторяешь чужие дни,
тебе незнакомые, как всегда не знакомы
люди в дожде, люди после дождя –
серый воздух и свет – зеленый –

как будто кто-то тебя окликает:
«здравствуй, ты как?» –
вглядываешься, но узнать не можешь, откуда-то зная –
это время наклоняется над тобой, как рыбак –
над уловом, чью-то левую руку в правой руке сжимая.

устанешь за день, почувствуешь – вот усталость.
воздуха ленточка вьется в открытом окне,
к теплomu животу прижимает тебя невеликая жалость:
ну отдохни же, мой маленький, отдохни.

снова пойдем в Харитоновский сад, в нем нехитрые белки –
тени деревьев – в траве мельтешат,
облако закипает, будто молочная пенка –
облако закипает и высыхает сад,

белый – как будто засвеченный снимок
с темным пятном посередине, вдали.
ты понимаешь – вот же она, причина
просто стоять у воды, у воды.

жизнь, повторенье, обыденность, долгое лето
сердце сжимает опять в горсти,
тихо глядишь туда, где дирижабли качает ветер.
не говори только сейчас, не говори.

Екатерина Симонова родилась в 1977 году в Нижнем Тагиле. Окончила филологический факультет Нижнетагильского педагогического института. Автор четырех книг стихов. Публиковалась в журналах «Урал», «Уральская новь», «Новый мир», «Вещь», «Воздух», «Гвидеон», «Новый Берег». Живет в Екатеринбурге.

поднимается на цыпочки, срывает с дерева плод,
и Иван Алексеич глядит на него с земли –
бархатистый и мягкий, точно ее живот –
из темных аллей любви.

зябко кутаясь в непреременную шаль,
как и все женщины до и после нее,
она повторяет: «Мне ничего не жаль,
особенно же – себя самой».

кузнечик стрекочет, лето дрожит и плывет –
банным сереньким дымом, паутинкой в траве,
варят варенье, вишневый лист пытается перейти его вброд,
но засыпает, нет, погибает, под русскою пеной дней.

холод осеннего леса, рыжая синева –
открытая форточка, хлопающая, разбивающееся стекло,
и в гребенке воздуха запутался русский колтун –
ветку взгляд надламывает, точно рука, рукой,

вечер – лампочка начинает хрипло мигать,
вспыхнет смородиновый куст в дожде,
потом погаснет, закончится дождь,
вдалеке, в углу картины, заснет в тоске

серый холм, окрестность, продрогший дом, наугад
знаешь который, переберешь простыни, вытрешь, не глядя, стол,
ладонь приложишь к стеклу – так запирают уста,
чтобы никто не нашел

ни прошлого, ни настоящего, ни тебя,
сидящего в темноте, ждущего до утра, до утра,
пока отпустит тебя жизнь,
если не эта тоска.

Елене Сунцовой

тленье бывает так сладко.
яблоко так свежо.
что невозможно –
то хорошо.

время котом на груди
свертывается сыто, урчит.
слышишь: густая осень.
это ведь мы почти.

рыбными косяками
косо идет листва.
я забываю
все, что она унесла.

вновь взвесь плывет золотая
по поверхности темных вод.
кто тебя, моя дорогая,
потеряет еще, найдет?

закрой, закрой глаза. не смотри.
стеклянные кости деревьев стучат.
все, что нужно каждому – немного любви,
задуваемой, как свеча.

все, что нужно – фонарик в горле зимы,
выталкивающий свет, как выталкивают птенца
из гнезда: лети
и умирай без конца.

райские двери откроются не тому,
кто хотел войти, но тому, кто не стал просить,
кто, закрыв глаза, простил тишину
за то, что нельзя говорить.

долго ехать: в подстаканнике сером и мятом мутнеет чай,
неба суконная шторка в вагонном окне,
ложечки алюминий, в серых печатях край
каждой простыни, мост и река, где окна стучат в воде.

выйдем и выпьем: сей прогорающий лес, облетающий сад
прошлого высох и вымок, птиц голоса
в нем провисают, как телеграфные провода,
перекатываются, как в пакете последняя ягода-виноград.

милый, очнись: кто к тебе здесь-то придет,
кто разделит с тобой и пастилку печали, и одышливый страх?
день, затем год тают, как лед
в горячечных, беспокойных руках.

день, затем год только кажутся, как кажешься ты
живым, настоящим, глядящим не сквозь меня,
но на меня: зеленый скрипучий забор, яблоневого цвета –
розовеющие, как я,

проводившая, ждавшая, плакавшая вослед –
вослед всегда плачут, как и навстречу – твердят:
«Не покидай меня больше».
неопознанная, как предмет,
жизнь прошла – с баночкою утрат:

с банкой помады наивной: намалюйся, старей, смотри,
с детскою склянкою со светлячком,
с первой радостью – земляничною в горсти:
нес, донес, открываешь ладонь – а нет ничего.

Письмо двадцать седьмое – Александру Петрушкину

окурок дороги остается в конце дороги,
прах и/ли пепел, кровь и вода,
граненый стакан зимы, отбитый локоть
настороженной ели, голод и лепота –

перечислять можно долго, чувствуешь запах
(шишки, мазут, хлебная корка, паленый спирт)?,
мы едем дальше, молча и долго,
и от мороза тянет в паху, горит:

как ты не видишь, ведь что-то еще где-то еще горит –
масло в светильнике, железнодорожные фонари,
полузадушенные, как стыд.
что-то болит, навзрыд.

так мы и едем – бредим, бредем, живем,
уже по колено в снегу, потом по грудь,
так, что уже не выдохнуть, не вздохнуть.

ужас срезает птиц на лету
с воздуха, точно кору с куста.

темнота, собрав всех в бумажный выюжный кулек,
потрошит нас – по одному:
зрение, слух, дыханье, словесная шелуха.

Письмо восемнадцатое – Юрию Казарину

я включаю свет. я выключаю свет.
так и разлука, знаешь ли – вот она есть.
вот ее нет.

выпадет утром снег,
выключот в нем следы
гуси у самой воды –

белого станет меньше чуть-чуть,
воздух же глубже – по грудь.

я не знаю, есть ли там что-то,
я не знаю, о чем мне напомнит лицо,
увиденное перед уходом, склонившееся надо мной,
но

стоит ли знать об этом сейчас,
стоит ли вообще знать?
я очень устала.
я бы хотела заснуть и спать,
я бы хотела, но

все мы чего-то хотим.
вверх поднимается белый дым
зимы.

я про себя тебе (себе?) говорю:
яблоко – это беда,
съеденная на двоих.
но я не могу понять: почему беда
всегда остается одна?

почему мы все говорим -
по-настоящему –
только когда молчим?

так всегда говорит только вода.

Бог – это то, чего мы не знаем о нем.
дерево – тополь,
спиленный под окном.
так наступает весна.

так наступает весна:
женщина умерла.
женщина – это вода.
если она умерла –
просто она истекла.

Из книги «РАССКАЗЫ О СТЕЧЕ»

*

Они сидели по сторонам прямоугольного зала для медитаций, неподвижные, как китайские болванчики, на серых матах и черных подушках зафу, а напротив алтаря с медной статуей Будды и цветами, на той стороне зала, сидел мастер, медленно произнося слова обучающей дхьяна-медитации. Они сидели неподвижно, прикрыв глаза и вслушиваясь в еле слышную сбивчивую речь, перемещаясь внутри себя, преодолевая боль в спине и затекшей шее, и пространство над ними напоминало колокольчик, а сами они – его язык, но только если у обычного колокола язык раскачивался, то тут языки были неподвижны, а взамен этого воздух над сидящими в зале, казалось, ходил ходуном, тихо поскрипывая. Звуки уходили и приходили – стук и скрежет трамвая на повороте улицы, удары отбойного молотка в переулке, звук колокола в монастыре, и он, сидя на зафу и вслушиваясь в тихую речь наставника, уходил и приходил вместе с ними, пока не стал таять внутри себя большей частью своего разума и тела, и таял до тех пор, пока не слился с тем, что растаяло, и теперь было уже не льдом, а бескрайним пространством, состоящим из того, чем он был до этого всегда. И он исчезал все больше, и все больше обнаруживал себя врастающим в неуловимый объем, откуда он когда-то вышел в свою жизнь, а теперь снова вошел, чтобы слиться с ней у ее истока, словно с бесконечной комнатой без стен, состоящей из света и свободы.

Между лопаток у нее проступала выпуклость застёжки, а в волосах сидел кузнечик, и он подумал, что если оставить только застёжку и кузнечика, а все остальное убрать, то возникнет пространство нелепо размалеванного ангела с красным ртом и широкими лиловыми штанинами. Но пока что ангел не появлялся, а вместо него был незаполненный объем между застёжкой бюстгалтера и кузнечиком в волосах – пустота, из которой недавно ушла хозяйка. Эту пустоту можно было бы сравнить с воздухом между баскетбольным кольцом и оборванным медальончиком, сверкающим на полу, невидимым мерцающим шаром, в котором только что висел баскетболист, но вот мяч пробивает корзину, зал ревет, и атакующий бежит обратно, на свою половину площадки, а объем между оброненным медальончиком на полу и кольцом с взметнувшейся сеткой остается пустым и словно испытывает страдание от исчезновения летящей мускулистой фигуры, словно кривится воздушной судорогой. И теперь время подумать, кто туда войдет, потому что на этот раз это будешь не ты, не дерево, и не камень, и даже не женщина с лунным пятном в причёске, похожим на кусок мрамора. На этот раз это будет то, о чем ты не знаешь. Мир и состоит в основном из таких пространств, откуда уже кто-то ушел или еще не пришел, и они переливаются друг в дружку, как молоко из бидона в бутылку. Но поскольку машинист, скажем,

Андрей Тавров окончил филологический факультет МГУ по отделению русской филологии. Работает на «Радио России». Член Международного Пен-центра и Союза писателей Москвы. Главный редактор поэтической серии издательского проекта «Русский Гулливер», главный редактор литературного журнала «Гвидеон». Автор 12-ти поэтических книг, романов «Кукла по имени Долли» и «Мотылек» (оба 2008, изд-во ЭКСМО), «Матрос на мачте» (2013, «Центр современной литературы»), книги сказок для детей «Май, драконы и волшебное зеркало» (2005, изд-во «Нарния»), книг эссе и статей «Реставрация бабочки» (2011), «Свет святыни» (2009, обе – «Ассоциация Духовное возрождение»), «Письма о поэзии» (2011, «Центр современной литературы»).

метропоезда, и есть это самое молоко, то ему не ощутить пустоты, откуда он ушел, или пустоты, в которую его сегодня перелили, и поэтому ему кажется, что он как был, так и остался молоком, которое одержимо лишь одним ужасом – свернуться, потому что так на молочном языке называется смерть. И если пуля попадает в живот, то молочный человек свертывается и оседает, как это было, когда ты стоял в толпе недалеко от СЭВа, а из дома напротив стали стрелять из автомата и попали в пожилого мужчину, и тот упал, отдуваясь и хрипя, на тротуар, а потом затих, а ты так и остался стоять, глядя на упавшего, а автомат все стрелял и стрелял короткими, в три-четыре выстрела, очередями.

Цапля

В ту зиму снег так и не выпал, зато время от времени шел дождь, и после него все вокруг начинало блестеть: крыши автобусных остановок, рельсы фуникулера, каменные ступени и жесткие, словно железные, листья лавровых кустов. Но сильнее всего блестел асфальт, а когда тучи на миг расходились, то улица начинала светиться и казалась выложенной слюдой. День наступал, разрастался матовым светом, шевелил прозрачным туловищем, раскачивал кедры на подъеме, растрепывал пальмы и гнал серые волны к берегу, а потом снова темнело, в барах тихо играла музыка, и на мокром асфальте у порта зажигались шары фонарей.

Когда дорога шла под уклон, Стеч работал правым ручным тормозом, обод заднего повизгивал, колесо заносило, и машина сбавляла ход. Стеч миновал остановку у здания кинотеатра, рядом с которым под полиэтиленовым навесом темнели фигуры торговцев фруктами и цветами, и когда он проезжал мимо них, то вдохнул горький и свежий запах роз и лилий, которого не любил, потому что он напоминал ему похороны. Дальше фонарей не было, и Стеч сильнее надавил тормоз, который из-за воды на ободе работал почти вхолостую. Пока велосипед, потрескивая задней втулкой, несясь в темноте мимо громады санатория с черными, мерцающими окнами, Стеч старался быть особенно внимательным, чтобы не влететь в колдобину, и, когда через минуту выскочил на яркую, словно залитую мокрым светом трассу, то вздохнул с облегчением.

Дальше прямой спуск шел к стадиону, машин видно не было, поэтому он снял руку с тормоза и распрямился в седле. От остановки у санатория медленно отваливал освещенный автобус ЛАЗ, и обгоняя его Стеч увидел, как смуглая маленькая кондукторша, склонив голову, выискивала в своей кондукторской сумке сдачу, но видно было не очень хорошо, потому что окна автобуса запотели и кондукторша казалась расплывчатой, как отражение чайки на ряби, и он даже не понял, молодая она или старая, хотя какая разница, потому что ей столько же лет, сколько и всем остальным, и, скорее всего, выглядит она так же, как все остальные – среднее между русской и нерусской породой, между молодостью и старостью, да и одежда – розовая неновая кофточка, а поверх куртка из кожзаменителя. Когда он обходил автобус слева, в лицо пахло жаром от разогретого мотора, и он ощутил от этого уют и надежность.

Ближе к мосту через речку он притормозил, и набравший скорость автобус догнал его, пронеся мимо, и выйдя на подъем, переключил передачу. Загудел мотор и, миновав мост, ЛАЗ стал взбираться, кашляя и отхаркиваясь, к санаторию «Золотой Колос», где столбы у ворот украшены барельефом, изображающим снопы наливных колосьев, а за решеткой густо растут бамбук и акация.

Стеч, медленно крутя педали, свернул в улочку, ведущую к четырехэтажной кирпичной школе, в которой когда-то учился, и тут остановился, выставив ногу в черном шнурованном ботинке на бордюр тротуара. По капюшону куртки редко и звонко щелкали капли, но ему было жарко, он отбросил мокрый колпак на спину, расстегнул куртку, достал из грудного кармана пачку Филипп-

Морриса с угольным фильтром и закурил. Все-таки американские сигареты приятней, и дым у них ароматней, чем у болгарских, тоньше и будто бы отчетливей и свежее. Это, наверное, оттого, что вчера вечером они много выпили, и похмелье до сих пор не прошло.

С самого утра ему казалось, что он что-то забыл, но что именно, теперь он вспомнить не мог. Вчера вечером он явно видел что-то хорошее и тревожное, о чем стоило вспомнить, но оно не хотело обозначаться в памяти, и поэтому Стеч поморщился, докурил сигарету и выстрелил окурком в темный воздух. Огонек описал бледную дугу, зависшую в глазах на несколько секунд, но не долетел до земли, исчезнув без следа в мокрых ветках ивы. Было тихо, и он слышал, как журчит речка и за железной дорогой разбивается о пляжи прибой. Стеч подтянул ногу к педали, оттолкнулся, вильнул и поехал вниз по переулку. Обогнув школу, он оказался у серо-зеленой четырехэтажной «хрущобы», маячившей над бурлящей от дождей речкой. По улице на той стороне проехала машина с зажженными фарами, и бок четырехэтажки ненадолго вспыхнул мутным бледно-зеленым цветом, слабеющим на глазах – лениво потянулись длинные тени, поворачивая дом вокруг оси, как карусель, но не повернули, и через секунду все вернулось на свои места.

У подъезда Стеч притормозил и залез в карман куртки. Оттуда он вытащил промокшую записку с кое-где прилипшими к ней табачными крошками и поднес к глазам. Под фонарем можно было разглядеть адрес, выведенный крупными буквами красной шариковой авторучкой. Стеч затолкал мокрый клочок бумаги обратно, взял велосипед за раму и вошел в подъезд. Протащил подпрыгивающий задним колесом «Турист» по ступенькам, вглядываясь в номера квартир, остановился и позвонил в дверь.

Когда открылась дверь, он сначала не узнал ее лица, и только потом увидел, что это она, и что теперь она одета в синюю блузку с вырезом, заправленную в короткую светлую юбку и, стоя на пороге, раскачивается как каланча на своих длинных ногах.

– Я с велосипедом, – сказал Стеч, косясь на обтянутую блузкой грудь, которая сегодня казалась слишком большой, наверное, из-за того, что девушка была худощава, хрупка и узка в талии. «Наверное, она не успела заметить, куда я смотрел», – подумал он. На минуту ему стало неловко, и он сказал:

– Можно его завести внутрь?

Она сделала гостеприимный жест рукой.

– А где ваш друг? – спросила она, пока Стеч пробирался в прихожую, цепляясь рулем за обои и вешалку.

– Он не придет, не сможет.

– Почему? Вы же вчера хотели придти вдвоем.

– Не вышло. Он обрызгался.

– Обрызгался? Чем?

Стеч почувствовал, что волнуется. Надо было выпить, прежде чем сюда ехать, вот что, но он забыл.

– Чем обрызгался?

Пряди ее светлых волос пылали под слабой лампочкой.

– Мы пошли через парк, а там стройка. Он спрыгнул и попал ногой в дырку с жидкой грязью. А дырка узкая, и все эта жижа обдала его с ног до головы, как из насоса. Рубашка, носки, все-все!

– Он просил передать тебе привет, – добавил Стеч.

Он вспомнил, какой вид был у его товарища и как он там стоял, обляпанный жидким дерьмом сверху донизу, и как перед этим он битый час выбирал носки. Стеч внезапно содрогнулся от смеха и закашлялся.

– Бедный, – сказала девушка. – Проходите.

Стеч не сразу понял, кого она имела в виду.

Они вошли в комнату с горящим торшером, с ковром над диваном, на котором высились два оленя на фоне горного озера. Посреди комнаты (для торжественности, как потом сообразил

Стеч) стоял тонконогий столик с мандаринами на блюде и цветами в пластмассовой вазочке. В углу, на столе, беззвучно мигал черно-белый телевизор.

Девушка перехватила его взгляд.

– Мать на работе, – сказала она. – Утром придет.

Стеч снова почувствовал растерянность и волнение. Девушка ушла на кухню, было слышно, как там мягко хлопнула дверца холодильника и звякнула какая-то ложечка. Да, надо было выпить. Тогда бы он теперь так не маялся, а быстро нашел бы подходящие слова. Он сел за столик. Мандарины выглядели сиротливо, он не мог понять, почему. Потянулся было к одному, но передумал и полез за сигаретами. Как ее зовут? Ага, вспомнил. Они вчера с приятелем в баре «Интуриста» весь вечер изображали из себя не поймешь кого, говорили на английском, и две девчонки из местных, сильно накрашенные, в коротких юбках, кажется, им поверили. Тогда они сообщили им, что едут в Токио. Почему в Токио? Непонятно почему именно в Токио. Наверное в этом была какая-то ускользающая теперь идея. Но если вдуматься, он про Токио вообще ничего не знает. Он бы сроду туда не поехал, даже если б пригласили, чего он там не видел. Кажется, это именно в Токио архитектор Райт построил знаменитый небоскреб для банка, и когда ему как-то позвонили из Японии и сообщили, что в Токио было землетрясение и небоскреб накрылся, он, не раздумывая, отрезал в трубку: не может быть! В смысле, мой небоскреб не из тех, что накрываются от ваших землетрясений. Все рассчитано и учтено. Знал, мастер-ломастер, что не упадет. Даже просто почеловечески не усомнился. Не дал теплой людской слабину. Лед. Жидкий азот, мать его! Наверное, в этом и есть достоинство профессии? Еще бы! А вот интересно, что бы он стал делать, если бы небоскреб все же завалился? Наверное, так и стоял бы на своем. Или, может, дал бы задний ход? Но небоскреб-то все-таки не завалился, нет, не завалился. Может, потому и не завалился, что тот заднего хода бы не дал.

Девушка вошла в комнату. Стеч думал, что она принесет что-нибудь выпить, но в руках у нее были только сигареты и пепельница, изображавшая скрюченного коричневого карлика. Когда-то гном был покрыт лаком, а теперь наполовину облез. Она покрутила пепельницу в руках, поставила на стол и села напротив. Прямо-таки светский прием, мать твою! – подумал Стеч. – А-а, теперь понятно, что она делала там, на кухне – мазала губы, вот что. Наверное, помаду в холодильнике держит, где же еще, иначе зачем бы она его открывала. Они сидели и курили, и юбка у девушки задралась чуть ли не до талии.

– Чем занимаешься? – спросил Стеч. Ему казалось, что он должен поддержать беседу.

– Пока что на почте работаю, – сказала она.

– А потом?

– Потом выйду замуж и уеду в Москву.

Она засмеялась. Интересно, сколько ей лет? Наверное, из школы выжибли.

– Скажи, – спросил он, – а как проехать на новое кладбище?

– Вы же здесь жили, – удивилась она. – Не знаете, что ли? – Глаза у нее были голубые, с выпуклыми белками. – На двадцать четвертом, у вокзала остановка. Вам зачем?

– Не знаю... так...

Стеч сам себе удивился. На кладбище у него никто не лежал. Может, лежал дед, но он этого точно не знал.

– Странно... – сказал он.

– Что странно?

– Что я вспомнил про кладбище. Очень странно.

– Забудьте.

– Ладно. Может, звук включишь? – он кивнул в сторону телевизора.

– Включить?

– Ну да, или изображение выключи. У тебя есть что-нибудь выпить?

Он вылез из-за стола, обошел стул с девушкой и положил руки ей на плечи. Она не шелохнулась.

– Ну, выпить, – сказал Стеч, – чего-нибудь мокрого и с градусом, хотя бы с небольшим.

Она по-прежнему не шевелилась. Может, у нее не было выпить. Скорее всего, не было. Может, у нее вообще ничего не было – ни выпивки, ни денег, чтобы купить выпивку, или чего-то там еще, – догадался Стеч. Может, и мандарины-то не ее, а матери. Скорее всего.

– Знаешь, – сказал он, – я понял про кладбище.

– Опять вы... – она дернула плечом.

Стеч поцеловал ее в макушку и почувствовал, как неожиданно застучало его сердце. Он говорил не разгибаясь, выдыхая слова прямо ей в волосы.

– Знаешь, наверное, кто-то сейчас подумал про кладбище – вот оно и проявилось.

– Кто подумал?

– Не ты? – он опустил руки ей на грудь, расстегивая пуговицу на блузке.

– Не я.

Он наклонился еще ниже и поцеловал ее в губы. Девушка дернулась, словно пытаясь встать, и замерла. Стеч заметил, как она плотнее сжала колени. Он сел на ковер рядом и потянул на себя вместе со стулом. Стул накренился, замер в состоянии неустойчивого равновесия, девушка пробормотала что-то невразумительное, и в этот момент в дверь позвонили. Стеч отпустил стул и быстро поднялся на ноги. Даже непонятно, чего он так испугался.

– Мать? – спросил он.

– Не знаю... не должна...

Она пошла открывать. Стеч слышал, как щелкнул замок в прихожей, раздался тихий мужской голос, и девушка вошла в комнату и остановилась, не глядя на Стеча. Следом появился широкоплечий и смуглолицый молодой человек. Стеч напрягся, почувствовал жаркую ярость в животе и быстро прикинул расстояние до ближайшего стула.

– Знакомьтесь, – сказала девушка.

Молодой человек протянул руку и вежливо представился: – Арсен.

Стеч расслабился, назвал свое имя и пожал гостю руку. Они потоптались немного посреди комнаты и молча сели за стол с мандаринами, пластмассовой вазой и пепельницей-карликом. Девушка тоже села.

– Я рад, – после паузы сказал Арсен. – Рад.

– Ага, – сказал Стеч. – Он обратил внимание, что Арсен был тщательно причесан и от него пахло хорошим одеколоном. На запястье поблескивал золотой браслет. Было видно, что девушка нервничала. Она взяла сигарету и закурила. Потом быстро встала и ушла на кухню.

Арсен взял со стола пачку, достал сигарету, покрутил в пальцах и засунул обратно. У него был правильный прямой нос, восточные глаза и скулы и загорелое, но какое-то серое лицо.

– Я рад, – повторил он. – Да.

Он снова замолчал.

Стеч встал, подошел к телевизору и попытался включить звук, но у него ничего не вышло. Он вернулся за столик. Было слышно, как на кухне полилась вода. Может, хотя бы радиотрансляция у нее здесь есть, а? Он поискал взглядом приемник, но не нашел.

– Я рад, что у нее такие хорошие друзья, как вы, – сказал Арсен. – Да, рад.

Он опять взял пачку в руки.

– Она ведь сама очень хороший человек, – сказал он мягким, вежливым голосом. – Сейчас приду.

Он поднялся и пошел в прихожую. – Не закрывайте, я быстро. – Было слышно, как глухо лязгнула дверь в подъезде.

Девушка быстро вошла в комнату.

– Он меня замучил, – яростно зашептала она. – Всю ночь меня мучил и ничего не смог, ничего. Таблетки свои горстями глотает. Мы с ним уже давно врозь, давно!

На глазах ее блеснули слезы.

– Куда это он пошел?

– В магазин, за выпивкой.

Наконец-то, подумал Стеч, есть бог на свете.

- У нас ничего с ним больше нет.
- Это неважно, – сказал Стеч. Ему сейчас действительно это было неважно. Ему было хорошо.
- Слушай, есть у тебя магнитофон?
- Сломанный.
- Ладно. А приемник?
- Нет. Нет у меня приемника. И радио нет.

Он глянул в окно и увидел Арсена, идущего вдоль речки. Под дождем он поднял воротник куртки и сгорбился. Через минуту он зашел за угол дома и пропал из виду.

...Арсен вышел из подъезда и свернул направо. До магазина было метров сто по асфальтовой дорожке вдоль берега. Внизу текла, пенясь и шумя, вода, обходя валуны, а на том берегу под ивой стояло и светило в черной листве неровное светлое пятно, похожее на белую рубашку. Арсен остановился. Непонятно было, кто это там стоял рядом с самой водой и не двигался. Тогда он, оскальзываясь, стал спускаться к воде и, когда оказался на берегу, увидел, что на том берегу стоит что-то вроде большой птицы. Когда глаза привыкли к темноте, он решил, что это цапля, но только очень большая, величиной с человека. Цапли в этих местах не водились, во всяком случае, он ни разу их тут не видел, но ведь она могла сбежать, скажем, из дендрария. Ведь есть же там лебеди, он сам видел, почему же там не может быть цапли, хоть бы и такой большой. А цапля все стояла и все глядела на него с той стороны речки золотисто-зелеными глазами. Повела головой, щелкнула клювом, и от этого из клюва вылилось немного воды, тускло блестя на лету, как будто это была не вода, а серебро. Арсен стоял и ждал, думая, что, может быть, еще чего-нибудь увидит, но не увидел – цапля не шевелилась, так и стояла на одной ноге недалеко от берега, как статуя. И он тоже стоял, как статуя, не шевелясь, и глядел на нее. Если о чем-то сильно думать, то оно, конечно, рано или поздно проступит, ведь далеко не все, что мы видим вокруг себя и есть те самые вещи, которые мы думаем, что видим. Потому что, – подумал Арсен, – мы чаще видим не сами эти вещи, а мысли других про эти вещи. Вот, например, если человек целый день будет думать о ежике, то этот ежик обязательно где-то появится, не обязательно, что рядом с тем человеком, а, может, на другой улице или даже в другом городе, или, вообще, где-то на даче, но появится, как пить дать. Или, если думать про болезнь, как например, то и он тоже проявится – хорошо, ежели не у тебя. Хотя, все равно, ничего хорошего. И еще, – подумал Арсен, – облизывая губы, на которые падали дождинки вперемежку со снегом, – пока он ее думает, ну, например, мысль о собаке, эта собака так и будет стоять на углу, а если он перестанет думать, то она так и исчезнет вместе с памятью о ней. А раз собака исчезает вместе с памятью о ней, то никто и не помнит, что она сначала была, а потом исчезла. И вот сейчас, если эта цапля на той стороне речки исчезнет, то он этого тоже не отметит и не запомнит, потому что цапля исчезнет вместе с памятью о ней, и кто же ее тогда будет помнить? Значит ли это, что она ненастоящая? Ничего подобного. Потому что, кто же знает, сколько настоящих вещей появлялось в нашей жизни, а потом исчезло вместе с памятью о них для того, чтобы можно было жить дальше, а не выть с горя и не пропадать понапрасну. Вот и этот ее новый знакомый – приятный парень, а только кто скажет, его кто-то думает или он есть сам по себе. Наверное, он все-таки сам по себе. Многие думают, что я спился, скололся, совсем сошел с ума, но я-то не сошел с ума, а знаю, как этот ум в мире работает, а вы не знаете, никто не знает и даже этот ее новый знакомый не знает, хотя он, кажется, хороший человек и на велосипеде приехал, сам. И поэтому все, что он там сейчас думает, тоже где-то есть....

Речка тихо журчала, и камни были похожи на мыслящие головы без волос, два рабочих шли по той стороне, по улице с тусклым фонарем, и о чем-то тихо матерились.

Стеч закрыл глаза, сел и стал слушать, как жужжит и посвистывает телевизор.

У нее красивые ноги. Какие-то ненастоящие. Смешно все-таки получилось. А Арсен, похоже, славный мужик, только слегка чудной. Зрочки как точки. Такое бывает от опия. Надо ему было

чуть пораньше придти. Хотя нет, не надо. Тогда бы мы не поцеловались. Ее приятно целовать, и грудь у нее красивая. Вот и пойми, вовремя он пришел или не вовремя. Скорее всего, теперь уже драки не будет. Хотя, как знать. И все же, пожалуй, драки уже не будет, с чего бы им теперь драться.

Он подошел к окну и потянул ручку на себя. Рама взвизгнула и открылась. Лицо обдул свежий воздух, и в комнате стало слышно журчанье. Он взгляделся вниз – там текла речка, и он различил в свете из окна круглые камни на мелководье. Вода была черной, в золотых змейках, а тот берег казался сплошной темной стеной, над которой сиротливо горел одинокий фонарь. В прихожей снова хлопнула дверь, в комнату вошел Арсен и поставил на стол две бутылки – портвейн и водку. Бутылки были мокрые и влажно блестели в свете торшера. Девушка сходила на кухню и принесла рюмки. Они выпили водки. В комнате постепенно стало светлее и нарядней. Выпили снова. Арсен полез в карман и осторожно положил перед Стечем маленькую плоскую пачку.

– Не желаете?

– Что это?

– Это? Попробуйте, вам будет хорошо.

– Нет, спасибо.

– Ну, как хотите.

Он взял пачку, высыпал таблетки на ладонь и отправил в рот.

– Принеси, пожалуйста, запить, – невятно попросил он девушку. Та принесла с кухни стакан воды. Он проглотил таблетки и выпил маленькими глотками стакан водки. На нем это никак не отразилось, разве только постепенно он стал каким-то белесым, но это могло быть не из-за того, что он съел таблетки, подумал Стеч, а из-за того, что нам всем сейчас хорошо от водки и портвейна. Арсен сказал еще несколько вежливых фраз, встал из-за стола и церемонно распрощался. Они проводили его до дверей и вернулись в комнату. Они легли на ковер под включенным телевизором, и Стеч стащил с девушки юбку.

Она помогала ему коленями, как будто теперь это она ехала на велосипеде, но уже не спускаясь, как недавно Стеч спускался с горы, а набирая высоту и забираясь Бог знает в какие высоты, крутя педали светлыми, долгими и сильными до тех пор, пока не осталась ничего лишнего, только расстегнутая блузка, и тогда Стеч лег на нее. Он ощутил сильное сопротивление, но устремился вперед, несмотря на боль, а потом они лежали на ковре, потные и задыхающиеся, и он смотрел с пола на включенный голубо-серый экран, который светился теперь вверх ногами, а потом встал и открыл дверь на балкон. Запахло водой и угольным дымом, и Стеч увидел, что пошел снег.

Белые снежинки кружились над речкой, на фоне черных зарослей с той стороны, шуршали на балконе, залетая в открытую дверь, почти неподвижно стояли в безветренном синем и мокром воздухе, и воздух был усеян ими, словно подсолнечной лузгой, и они вращались, мелькали и пропадали, чтобы снова и снова выныривать из темноты и уходить в нее, и Стеч слышал, как они шуршат и шелкают на балконе, задевая за высохший виноград. Он подумал об Арсене с благодарностью, пожелал ему удачи, вдохнул холодный воздух, в котором таилась нежная стеклянная радость, вернулся в комнату и снова лег на ковер рядом с девушкой.

– Смотри, что у меня есть.

Она показала ему бумажный пакетик.

– Что это?

– План. Травы.

– Дай сюда.

– Зачем?

– Дай.

Он отобрал у девушки пакетик и засунул его в карман рубашки.

– Не делай этого, – сказал он. – Может плохо кончиться.

Он сказал это серьезно, почти с негодованием, и от этого ему стало смешно, но он знал, что говорит правильные слова.

– От него хочется летать, – сказала девушка.

Он покосился на нее, и она внезапно показалась ему очень красивой и бесполой, как какая-нибудь скульптура или ангел.

– Я хотела прыгнуть с Верецагинского моста. Залезла на ограду, но меня стащили.

Он задумался.

– Знаешь, – сказал он, морщась, – мне кажется, весь смысл в том, чтобы захотелось полететь ни с того, ни с сего. Просто взять и прыгнуть с моста без всяких причин.

– Для чего тогда?

– Ни для чего. Никакой цели. Шел по мосту, а потом взял и прыгнул.

– Выпил, что ли?

– Не выпил, не обкурился. И даже не потому, что ему по кайфу в этот момент, или что он к девушке шел. Не потому что ему хорошо или плохо. Без всяких причин.

Казалось, его неожиданно поразила эта мысль.

– Вообще без всяких?

– Без всяких причин, вообще. Взял и прыгнул.

– Кто?

– Неважно. Просто без всяких причин.

– Ты бы так хотел?

– Да.

– Зачем?

Стеч шумно выдохнул:

– Я же сказал, низачем. Просто идешь себе, думаешь всякую ерунду, а потом, не глядя, лезешь туда и прыгаешь. Ну, что, не ясно?

Он даже разволновался, даже расстроился.

Девушка встала и набросила халат.

– Без причин ничего не бывает.

– Ты так считаешь?

– Ага.

Стеч задумался.

– Чепуха, – сказал он, наконец, – вообще нет никаких причин. Если подумать, то ясно, что нет. Какая причина дереву расти? Или человеку жить? Никакой.

– Как это никакой?

– Никакой нет причины, – сказал Стеч убежденно, и ему показалось, что кто-то дернул фортку прямо у него перед носом, и там мелькнул далекий луг с золотым чучелом и синим небом. И он понял, что живет не зря, как и девушка, и что если нет причины, то и смерти тоже не будет, хотя в это поверить было сложнее.

– И смерти тоже нет, – сказал он.

Но девушка не слышала его, потому что ушла на кухню, и тогда он встал, налил водки, выпил, выключил свет и лег на диван. Смерти, действительно, больше не было, ну, а если немного и оставалось, то не здесь, а где-то далеко-далеко – там, куда он доберется не скоро. Он чувствовал прибывающие силы и бодрость. Вот ведь оно, его тело, сильное и жаркое, готовое бежать, любить, прыгнуть с моста или гнать велосипед в горку до изнеможения. И он снова пережил свою легкость и силу и решил, что и дальше они останутся с ним навсегда. Когда девушка укрывала его одеялом, он приоткрыл глаза и увидел подрагивающие в мертвенном свете телевизора стены и коврик с оленями.

– Разбуди меня завтра в шесть утра, – пробормотал Стеч, – мне на вокзал надо к поезду. – И провалился в сон.

Он проспал, но не сильно. Вскочил, оделся, выбежал из квартиры. Девушка не проснулась. Улицы были пусты и, казалось, все еще дремали в косом утреннем свете. Мост и подъем были свежими, словно только что вымытыми. Кипарисы стояли как большие зеленые свечи, и пахло

морем. Ночью шторм кончился, но горизонт по-прежнему был темного цвета. На железнодорожной насыпи кое-где лежал снег, а над ней растянулся, отчетливо постукивая колесами, длинный товарный поезд, идущий в сторону Адлера.

Стеч доехал на шальном, еще прохладном автобусе до поворота к вокзалу и там сошел, потому что автобус, не сворачивая, шел дальше прямо до «Платановой аллеи». Он сбегал по ступенькам в длинный подземный переход с зажженными лампами дневного света, одна из которых жужжала, и от этого облицовка из блестящей плитки, исписанной фломастерами, словно вздрагивала, вместе с какой-то кучей тряпья, наваленного у стенки. Проходя мимо тряпок, он разглядел между ними перья и длинный клюв, похожий на клюв цапли, но только намного больше, а среди белых и грязных перьев желтоватую, словно облысевшую кожу, совершенно гладкую, и большую женскую грудь, похожую на вялое тесто, распластанную по цементу, а под ней темно-бурое пятно, на котором сидели мухи. Он наклонился, положил палец на веко и потянул – глаз открылся и закрылся снова, оставив небольшую светлую щель, и было ясно, что лежащая в перьях девушка уже давно мертва, потому что это была она, та от которой он только что ушел, но Стеч никак не мог сообразить, что это она, потому что сейчас она выглядела не только как девушка, но и как старуха и еще как цапля. Женское лицо цапли было неподвижным и белым под сильной косметикой, размазанной то ли от слез, то ли от пота. – Наверное, ее ночью убили, – подумал Стеч, глядя, как зачарованный, на дряблую грудь с вялым соском и запекшейся раной внизу, откуда вытекла и загустела кровь, а он все смотрел и смотрел, потому что никак не мог решить, девушка ли это, которую он любил ночью, или старуха, или просто цапля. Он чувствовал противную липкость на пальцах, по ребрам потек пот из подмышки, и он снова уставился на вытянутые вдоль стенки длинные женские ноги с загнутыми птичьими когтями, словно сжимающими невидимый мячик, а лицо цапли, старое и неузнаваемое, все же было именно тем самым лицом, которое он целовал сегодня ночью.

– Людка! – прохрипел незаметно подошедший сзади мужик. – Ох, ты, иттить твою мать! Допрыгалась. Это ее Колян грохнул, бля буду.

– Ты чо, ты чо, Серый, серьезно, что ли, Людка? – гулко спрашивал второй мужик, от которого несло застоявшейся смесью лука и перегара. – А я смотрю тряпки валяются, то ли бомж, то ли еще кто лежит, а тут вона кто приютился. А может, это и не Людка, – засомневался он, – Людка молодая, а это старуха какая-то... – а Стеч уже быстро шел, почти бежал по переходу с шаркающей акустикой и навистывал мелодию которую чаще всего играли в ресторанах и в барах той зимой – «La fille d'hiver» Джонни Холидея. На бегу он наступил на осколок бутылки, тот взвизгнул и отлетел к стенке, а Стеч чертыхнулся, легко взлетел по лестнице и выбежал на улицу.

Пальмы плавали в серебре неба, кое-где на веерах пальм лежал снег, на траве тоже было полноты снега, а на асфальте снега не было, но зато кое-где блестели лужи. Стеч чувствовал, как по жилам струится бодрость, холодная и ясная, как снег. Она с каждым шагом испарялась на языке, как у собаки, но от этого сил только прибавлялось, и ноги словно танцевали, неся его вдоль тротуара.

Он пересек вокзальную площадь, пробежал гулкое здание вокзала и, слегка задышавшись, выбежал на перрон – надо же, он все-таки проспал и опоздал к поезду. Он быстро шел по перрону, продираясь через встречный поток пассажиров с чемоданами и сумками, пока не увидел бабушку. Она стояла у двух больших чемоданов. Она увидела его издаലെка. Рядом с ней стояла проводница.

– Ни о чем тебя нельзя попросить, – сказала она с горечью, и Стеч сразу расстроился. – Даже о такой малости, как вовремя встретить, – добавила она и взялась за ручку чемодана.

Было видно, что она испугалась.

– Ладно, бабуля, извини, извини, – сказал он грубоватым басом, немного задышавшись. Он подхватил чемоданы. – Я же успел.

– Ни о чем нельзя попросить! – повторила она напряженно.

Лицо у нее было потным, а глаза синели и слезились.

– Извини, пожалуйста...

Он шел рядом с ней с чемоданами в руках. Перрон был длинный и пустой, в шевелящихся на

асфальте солнечных пятнах, над вагоном вился дымок, а в воздухе пахло морем. Поезд лязгнул, вагоны медленно поплыли рядом со Стечем, обогнали, и состав, набирая скорость, ушел под мост. Когда они спустились по выгнутой полукольцом лестнице к стоянке такси, он увидел, как над верхушками кипарисов кружат чайки, и снова попытался вспомнить что-то нужное, но не вспомнил.

Он покосился на бабушку – та шла рядом в старом зеленом платье, смотря то себе под ноги, то на стоянку такси с длинной курортной очередью, маленькая, родная старая женщина. Он любил ее, и ему было не по себе из-за того, что он не смог ее встретить вовремя, так, как она, по-видимому, рассчитывала и ждала. Наверное, для нее это было очень важно. Наверное, на это у нее были свои причины. Но, когда они, наконец-то, сели в такси, и он, с облегчением захлопнув дверцу, продиктовал водителю адрес, все прошло. Он закурил, выдохнул дым в открытое окошко, из которого бил навстречу холодный воздух, и стал смотреть, как неслись сбоку белые от снега кусты, сквозь которые просвечивало далекое темное море. А снег, скорее всего, будет падать сегодня и завтра, и, может быть, даже послезавтра. Он будет падать и сразу же таять. Тут он долго не держится. И все-таки, как красиво, когда здесь падает снег. Хорошо бы он падал и дальше.

*

Он пришел тогда на могилу святого человека и долго стоял, наблюдая за тем, как на мраморе с надписью играет тень листвы, а потом сказал, пусть я услышу, как поют ангелы, и услышал. Это было, как если бы кто-то начал надувать воздушный шар, в котором поместилась вся округа, с шоссе, зелеными березами на обочинах, дачными домиками и резными заборами, только при этом никакого шара не было. И не было слов и музыки, но была мелодия, которая распространялась во все стороны, как дерево, а вместе с ветками этого дерева ширилось во все стороны время, по которому мелодия могла перемещаться от ствола и к стволу и обратно. И когда она перемещалась туда и обратно, то перемещалась в двух направлениях одновременно и вместе с другими голосами.

И когда он открылся настолько, что смог ее воспринять, он задохнулся от избытка сказанного и пропетого. И внезапно он увидел, что ангелы пели о нем. Что все это, невероятное, никогда им не слышанное, весь этот безмерный концерт, достающий до дна морей и небесных сфер, звучит – ради него одного. И тут же понял, что кто бы ни услышал однажды пение ангелов, оно всегда будет – только для него одного, единственного.

И еще ангелы пели обо всем мире, и он видел, что пока они поют, деревья хранят свою форму и дома хранят свою форму, и птицы остаются птицами, и даже автомобили, мелькающие сквозь деревья на шоссе, остаются автомобилями. Но как только ангелы перестанут петь – все распадется в прах, как пепел под кочергой. В какие-то миг или миги, они, наверное, и останавливаются, и тогда действительно, больше ничего нет – ни мира людей, ни мира звезд и животных, ничего. А вернее – и есть, и нет, потому что эти миги так коротки, что их нельзя заметить. Но в сами-то эти миги сотворенный мир отсутствует в своем материальном воплощении. Его больше нет – ни прошлого, ни настоящего, ни этой деревянной церкви, под которой он стоял, ни парка у станции, ни электричек на рельсах.

И оттого, что пение было страшным, потому что обладало такой мощью, что в нем распадался и вновь собирался весь мир, оно стало еще прекраснее. Кто-то говорил ему, что прекрасное – это та часть ужасного, которую мы можем вместить и выдержать, и теперь он видел, что это правда.

И еще он видел, как колышется тень клена на мраморе креста, пока исчезает и появляется заново, словно корабль в бутылке, в парусах и снастях, весь мир. А они все пели и пели, и время шло вперед и назад, и он никак не мог согласиться, что небо поет эту песню о нем одном, а небо пело песню о нем одном, и кто ты такой, чтобы указывать ангелам, что им петь. И пока они поют

о тебе одном, ты жив и не распадешься на части и снова вынырнешь из небытия, куда нырнул со всем миром на неуволимо короткий миг, вынырнешь и услышишь, и вдохнешь и выдохнешь.

И он глядел на солнечный в шевелящихся бликах и тенях мрамор и чувал, как растет древо пения, и видел, что когда у него шевелятся губы, то они также точно шевелятся у ангела в небе и мертвого в могиле, потому что они говорят одно и то же слово. И еще он видел, что если он как-нибудь исчезнет насовсем, то и ангелы уже не смогут возобновлять мир своим пением и исчезнут насовсем тоже, только этого не может произойти, потому что и лист, и мрамор, и муравей и ангелы – все это было одним словом.

И еще он понял, что он слышал их пение всю жизнь, все время, но только не обращал на него внимания, делал вид, что его нет, что это не имеет значения.

Он вышел на шоссе, купил в магазине бутылку тархуна, потому что очень захотел пить, и пошел к станции. Шел и пил на ходу, пить было неудобно, но он не останавливался.

Фантомные боли на рио Форначе

На мост Риальто Стеч не попал, потому что перешел Большой канал еще раньше, по мосту у железнодорожного вокзала.

Утром он долго ехал на пригородном поезде, оглядывая унылые плоские места, зеленые поля и бетонные хайвеи, прежде чем вышел на перрон и оказался в здании вокзала с платформами, вагонами, гулким холлом, с музыкой и автоматическими кассами для продажи билетов, – таким, какие он видел десятки в разных городах, но когда вышел из вокзальных дверей на улицу, то ахнул и ощутил мягкий удар в сердце, словно его боднул большой и добрый баран, и от этого сердце защемило, словно от свежести, и он понял, что улицы, на которую он вышел, не было.

Вместо нее текла река, но это была и не река даже, а канал с дворцами, церквями и башнями на той стороне, словно Стеч шел себе и шел в одном мире, а потом взял и оказался совсем в другом без всякого предупреждения, что старый мир кончился и теперь все будет по-другому – так, как еще никогда не было.

По каналу плыли катера с пассажирами, купол высокой церкви, колеблясь, отражался в воде, а слева был высокий мост, ведущий на ту сторону. Еще в воде отражалось синее небо, раздробленное вместе с катерами и куполами, но там не было видно раздробленной от счастья груди и души Стеча, который стоял на вокзальной лестнице и диковато таранился на то, о чем столько лет мечтал. Потому что кто же не мечтает приехать в Венецию, чтобы встретиться с прошедшим временем, а потом и с настоящим, а точнее говоря, не с настоящим, а каким-то параллельным настоящему временем, а потом и с призраком смерти, который поселился здесь давным-давно и приманивал тихим свистом сюда всех этих великих и несчастных людей, имена которых были теперь выбиты на мемориальных досках на всех островах города.

Стеч спустился с вокзальных ступенек на набережную и побрел к мосту. В руках у него был купленный в Москве путеводитель по Венеции, и сегодня ему хотелось найти дом, в котором сорок лет назад умер знаменитый поэт, которого чуть было не прикончили его же соплеменники, причем не на дуэли или, скажем, благодаря катастрофе, а через трибунал. Правда, четверо из них его же потом и спасли. Стеч открыл глянцевою книжицу с еще вчера неправдоподобными картинками и прикинул, что ему придется пересечь весь город для того, чтобы оказаться в районе Доганы. Можно было, конечно, сесть на вапоретто, один из речных трамвайчиков, которые причаливали тут же, у железнодорожного вокзала, но он решил пройти пешком.

Он перешел мост, оглядев с вершины канал во всю длину вместе с гондолами и катерами, моторками и буксирами, оставляющими на его поверхности волны и следы, и их было почти так же много, как туристов на набережных, и углубился в узкие темные улицы. Сувенирами торговали везде, где только можно – с углов и стен сияли и блаженно дразнились луннолицые, серебряные,

белые с черными разводами и розовые с колокольчиками маски. Некоторые из улиц были настолько узкими, что по ним мог пройти только один человек, и Стеч шел и вспоминал гиперболоид инженера Гарина, потому что, кажется, именно там Зоя Монроз, героиня, пренебрежительно упоминала о вонии венецианских каналов.

Но, на самом деле, пока что никакой вонии не было, а была красота, которой нормальный человек, а не турист или местный житель, конечно же, выдержать ни за что бы не смог, вот и Стеч понимал, что если он еще немного откроется в доверии к этим местам, то с ним наверняка что-то случится, и он не был уверен, что происшествие будет добрым, и поэтому он еще раз посмотрел на путеводитель и переключил внимание на цель – дом в районе Набережной неисцелимых.

Стеч боялся красоты, когда она вламывалась в жизнь. Но если слишком сильное ее вмешательство всегда можно было остановить, перевести грубость ее напора в иронию, шутку, просто пропустить сквозь себя, то здесь этого не получилось бы. Потому что город был построен не для того, чтобы поражать красотой, а чтобы торговать, жить, заниматься легальным и нелегальным пиратством, расширяться на Восток и богатеть. Красота проступила в нем сама собой, но ее было столько, что предполагаемое судно, в котором она могла бы разместиться и плыть, как Венера, рожденная из моря в своей перламутровой створке, не выдерживало ее груза и все время переворачивалось. От этого Венера все время тонула, захлебывалась и умирала вместе со своим синим отрешенным лицом, но поскольку она и город были богами, то захлебнуться окончательно не могли и восставали во всем своем великолепии, правда, с глотком мертвой воды за щекой и в желудке. И еще каким-то странным призывом, который располагался за их затылком, и уловить его можно было тоже лишь при помощи затылка, на котором словно открылся еще один орган чувств, чуткий и нежный, как мышь. Стеч чувствовал, как он там пульсирует, приглядывается и входит в контакт с местностью.

Он пошел вдоль улицы с сувенирами, ведущей к монастырю, и заглянул в монастырский двор. Там было тихо и на стенах торчали светлые статуи ангелов и святых, а под ними бродили в химических цветов одеждах туристы с фотоаппаратами. Стеч не стал там задерживаться и пошел дальше. Мимо него проплыла гондоло, на которой шел праздник – музыкант сидел на корме под ногами гондольера, играя на аккордеоне, а впереди и по бокам разместилось еще несколько человек, и среди них была девушка в белом, про которую Стеч решил, что она невеста.

Он несколько раз сбивался с пути и выходил на совсем непредвиденные каналы, которые каждый раз поражали его и пугали своей красотой, особенно если на них не было народа – ни плывущих лодок, ни туристов на набережной, а только стояли пустые катера и гондолы, устремив свои вырезанные гигантским лобзиком и загнутые лошадиные шеи в небо, а в канале кроме них и домов не отражалось ничего, и сам Стеч ни за что не хотел бы в нем отразиться, потому что если отразиться в мертвой воде, то жизнь станет настолько прекрасна, что придется ходить по ней в нестерпимых чувствах до тех пор, пока не найдешь живую воду, чтобы немного умереть вместе с мертвой и снова стать усталым и озабоченным всякой чужьей человеком с именем и положением в обществе. Поэтому Стеч хотел отразиться в мертвой воде, но не так, чтобы это было нестерпимо, а так чтобы это произошло само собой, и тогда бы он чаще мог забывать, как его зовут и смотрел бы как тают его мысли, заботы и память, и как ничего под действием этой воды не остается, а наоборот распахивается дивная дверь, где только живая пустота и тихая тишина, в которой уже есть все, и которая и есть ты.

Через час он почувствовал, что устал и проголодался и зашел в кафе на безлюдной набережной. Там никого не было, кроме бармена за стойкой, пахло пирожками и стояли два высоких стола без стульев. Стеч купил каких-то орешков, сока и чашку кофе и поставил поднос на стол. За окном голубел от неба канал, и пока Стеч ел орешки и пил кофе, по каналу ни разу никто не проплыл, и от этого ему становилось еще лучше и нестерпимее.

Когда он допил кофе и потянулся за салфеткой, то обнаружил рядом со стаканчиком для салфеток бумажный сверток, вернее сувенирный пакет из твердой хрустящей бумаги, в какой обычно кладут маленькие бронзовые гондолы или фарфоровые крошечные маски, или, скажем, голубые

стеклянные бусы. Стеч машинально развернул пакет и вытряхнул содержимое на стол. Потом он положил то, что выпало на стол, обратно, встал и вышел на улицу. Он шел по набережной, отмечая, что на ней так и не появилось ни одного человека и что она уходит в плавный поворот, мягко исчезая там, дальше, за вторым горбатым мостиком, куда он и отправился, стараясь не думать о том, что только что увидел.

Какое-то время ему это удавалось, несмотря на то, что внутри у него вдруг все задрожало и отдалось в ногах, но все прошло так же быстро, как и началось. Он одолел повернувшую вбок набережную до конца, вынул путеводитель и нашел план района, в котором оказался, и только тогда понял, что руки у него дрожат. Стеч прибавил шагу, соображая, что если не заблудится, то будет на месте дома, где жил когда-то знаменитый поэт, минут через двадцать, от силы через полчаса.

Он свернул еще раз, ориентируясь по солнцу, и вышел на небольшую площадь. Здесь под стенами безымянного монастыря стояли цыгане – четыре человека в белых и красных рубашках и играли на аккордеонах и бубнах. Стеч достал фотокамеру, включил и навел объектив на живописных романах, и они сразу же приняли заученные позы и заулыбались изо всех сил. Стеч сделал снимок и пошел было дальше, но его остановили громкие и негодующие крики. Он обернулся – цыгане, ставшие словно плотнее и темнее от праведного гнева, что-то кричали ему вослед и жестикулировали, и Стеч понял, что они требуют гонорара за свои труды, улыбки, музыку и позы. Он поморщился, вернулся и положил на коврик несколько евро. Цыгане угомонились и снова заулыбались и застучали в бубны.

Здесь я должен сделать небольшую паузу. Дело в том, что я еще не знаю, куда пойдет Стеч и что он нашел на столике в кафе, а, вернее, в сувенирном пакете, который на этом столике оказался. И нет тут никакого литературного или писательского приема, затрудняющего читателю чтение, потому что, во-первых, сам я тоже нахожусь в некотором затруднении, а во-вторых, и это самое на данный момент главное – то, что происходит со Стечем – происходит в реальности, а не выдумывается мной на ходу. В той самой реальности, где расположились все наши судьбы. Тут надо заметить, что такое происходит не только, когда пишешь рассказ, но и почти во всех остальных случаях жизни. Потому что, как я сейчас в паре со Стечем и мы с ним вместе образуем одно сложное (а может, и не очень) существо, так и в каком-то другом случае, вне писанины и героев, я все равно большую часть жизни образовывал такие вот пары: я – она, или я – он, или я – это. В точно такие же отношения, как я сейчас со Стечем, большинство читателей вступает со своими женами или начальниками, или, скажем, с водителем своей машины, или, на худой случай, с полицейским, помогающим денег. Просто вы не записываете это, а я иногда записываю. Вы, конечно, можете сказать, что Стеч – это плод моего воображения, а ваша жена – совсем другое, потому что вот она, тут, но я спрошу вас, а почему вы так уж в этом уверены? Да-да, уверены в том, что ваша жена не плод вашего воображения, а Стеч – плод.

Я прожил уже много лет на земле, и когда я иногда рискую и спрашиваю того или иного человека, от которого могут зависеть жизнь и смерть сотен или даже тысяч человек – кто ты?, то в ответ слышу чаще всего нечто невразумительное, связанное с его паспортными данными, семейным положением или еще какими-то мало имеющими отношение к вопросу подробностями. Выясняется, что большинство людей не знает, кто они. А если они не знают, кто они и где им себя искать, то как же они могут отличить свою жену от своего воображения. Я не шучу. Это вопрос жизнеобразующий и настолько важный, что большинство народа, дабы не замечать нелепости всей своей жизни при отсутствии субъекта, предпочитают его себе не задавать. Считается, что они и так знают. Но они не знают.

Тем не менее, подобно тому, как я вступаю в единую, переливающуюся туда-сюда жизнь со Стечем, они также вступают в отношения, как мы уже выяснили, с женами, начальниками, продавцами и т.д. И дальнейшие траектории их судеб зависят во многом не от того, что эти люди думают о себе и мире, а совсем от других вещей. Например, от того, нагрубил ли человеку жена перед сном или нет. Потому что тогда он снимется с места, пьет валокордин, хватаясь за сердце, а потом идет в ночное кафе, где пьет какой-нибудь шнапс и кофе, а потом с ним случается непредвиден-

ное. То есть, я хочу сказать, что слова и настроение вашей жены во многом определяют вашу судьбу на сегодня, а также ее судьбу на сегодня, поскольку и она от своих слов, от вашей на них реакции и благодаря связи с вами, эмоциональной и сексуальной, может начать сходить с ума, не спать, позвонить бывшему или настоящему любовнику, а, может, и еще что-то предпринять, например, заплакать. И ежели ваша жизнь строится на таких вещах, которые вы иногда наблюдаете со стороны в минуты раздумья, так почему вы считаете, что мой способ общения с героем должен отличаться от вашего.

Конечно, ваша жена может вас ударить или отравить, а мой герой нет... но так ли вы в этом уверены?

Флобер, например, чуть не умер, испытывая сильнейшие симптомы отравления, когда его героиня взяла и приняла, не помню что, какой-то яд. И от слов Стеча, поверьте, моя судьба и мои поступки тоже зависят, и нет тут никакой надуманной магии, а просто там, где есть эллипс отношений с двумя центрами, неважно даже вымышленными или истинными, всегда продолжается земная история, которую уж очень хотелось бы одновременно и завершить, и продолжить, что само по себе – мука. Одним словом, я все это сказал к тому, чтобы вы поняли, что нет здесь никакого литературного приема, а что это мы с героем формируем обе наши жизни.

И для того, чтобы Стечу понять, как ему быть дальше и определить, что такое он увидел в аккуратном сувенирном пакетике, мне надо, как я сейчас понял, вспомнить, как я вчера шел по лесу и остановился. Я стоял и смотрел на куст в снегу, который рос недалеко от тропинки рядом с двумя старыми соснами. Тонкие и редкие его ветки были частично обломаны. Я стоял и смотрел на него целых десять секунд, и я его, наконец, УВИДЕЛ. Знаете, он был очень красив, этот куст. Линии его веток были нежны. Они мягко, но неуклонно расширялись, то ли в форме чаши, то ли в форме полураскрытой ладони, подставленной небу. Они проявляли свою женственность моему оттаявшему взгляду, который увидел, как прекрасен и невыразим этот обломанный куст на снегу.

И это был, скорее даже не куст, а дерево, которое не так давно начало жить на этом свете, но было видно, насколько оно исключительно, из ряда вон, и еще было видно, что в этой его исключительности так же много «всегда», как много его, этого «всегда», в иконах или в Подсолнечниках Ван Гога, а лучше сказать, в его Пустом стуле или Ночной бильярдной. Еще за эти десять секунд я успел заметить мягкие складки и слои снега под кустом и пошел дальше, унося в глазах этот жест единства, с которым обломанные ветки не только не боролись, но которое они, кажется, еще и восполняли. И если Габри Хадинек, любовь мою, с ее обрезанным языком, который сейчас проглядывает в этом рассказе о Стече, можно было бы представить в другой форме, то это была бы форма куста с обломанными гибкими ветками и его волшебной чашей, открытой от снега всему небу и не отстающей от неба в степени этой всеобъемлющей, хоть и покалеченной, открытости.

Поэтому я продолжаю вглядываться в Стеча. Ведь для меня важно, что делает в этой ситуации, тревожащей и могущей быть и во спасение, и в погибель нам обоим, человек, чей жизненный опыт превосходит мой собственный, хотя и согретый им, и подсвеченный, как бок луны далеким светилом. Мне кажется, что для того, чтобы Стеч, невидимыми нитями и незаметно для себя связанный со мной, продолжал жить и действовать там, в Венеции, которую сейчас можно назвать вечной или небесной (поскольку в ней собрана чистая и бесконечная возможность всех мыслимых для мира и Стеча вариантов поведения и судьб), назвать городом, подобным Новому Иерусалиму, – так вот, чтобы Стеч начал действовать в этом городе с искренностью, схожей с искренностью куста на снегу, я должен вспомнить еще две вещи – тюрьму для пожизненно заключенных и утку.

И я вспоминаю, как тогда стоял на мостках, ведущих через райское северное озеро от острова с тюрьмой к берегу, и светило солнце, и колыхались в синем небе чайки, и в тишине можно было за версту услышать скрип уключин и не только его, но и разговор баб в лодке о том, сколько брусники они набрали и чей муж пьет, а чей уже умер от пьянства. Я стоял и не понимал, что такое случилось в мире, потому что я вышел из тюрьмы на острове, где пахло мочой, дезинфекцией и каким-то жирным тюремным запахом, который я, оказывается, знал с детства, только потом за-

был, – как это произошло такое, что они остались там, а я стою здесь. Потому что я стою здесь и летаю чайки, а они остались там и не на время, а навсегда. Среди них не было невинных, и деяния их были просты и страшны – изнасилования, убийства, снова убийства и не одного, не двух, а многих людей, и осуждены они были справедливо, и все же я стоял на мостках, о которые плескалась вода, и чувствовал, что от меня отрезали большой кусок плоти, и неважно, хороша она была или нет, потому что это была моя плоть, одна, общая на всех нас, и теперь, когда я оттуда ушел, я ощущал себя разрезанным, как будто у меня взяли и отрубили ногу или вырвали язык. И дело было не в том, что запах тюрьмы оказался запахом моего детства с близостью людей, вышедших из тюрем или направляющихся в тюрьмы, а в чем-то другом, слово о чем я не мог нащупать, потому что у меня не было органа, который мог бы это сделать. Можно сказать, что меня мучила фантомная боль, подобная той, которую чувствует несколько лет человек, у которого ампутировали руку или ногу – он ее чувствует как живую, хотя, когда смотрит на пустой рукав, видит, что ее там нет, руки, но все равно продолжает чувствовать. Наверное, это ощущение психологически достаточно тяжелое, даже, наверное, нестерпимое, но человек, говорят, и к этому привыкает и живет даже счастливо.

И я стоял тогда на мостках, объятый этой самой фантомной болью и еще не подозревал, что она укажет мне и дальнейшие картины, и я увижу, сколько в моей жизни было от меня отрезано людей и событий, и богов, и молитв, и любви, и деревьев и рыб, а я этого не замечал, а теперь, когда фантомная боль стала нарастать, я понял, что я был отрезан сам от себя, главного и живого, и что вся моя жизнь прошла на собственной периферии, и сначала от этого испугался. Но потом я стал снова смотреть на чаек, которые медленно кружили над волшебным озером, над паромом около ворот тюрьмы с захавшим на него тюремным говоновозом, на далекие берега, сияющие в мягком отраженном от воды свете, с баньками, причалами и мостками – все это продолжало быть, и, значит, был во всем этом и другой смысл, кроме фантомного. Потому что чайка, например, я почти уверен, такой боли не чувствует, и дерево, даже обломанное, тоже не чувствует. Конечно, один из апостолов хоть и выразился, что вся тварь все равно стонет и мучается, ожидая откровения сынов Божиих, то есть нашего с вами, но наверное, это мучение у них спрятано как-то по-другому и не происходит в форме фантомной боли из-за того, что они отрезаны от меня, как я отрезан от тех людей в тюрьме.

И вот, пока я пишу эти слова, я понимаю, что фантомную боль можно преодолеть. Что оторванный язык или тюремная стена, или обломанная ветвь еще не залог того, что фантомная боль будет роковым образом преследовать меня всю жизнь. И знаете, почему? Потому что есть вещь более мощная, чем толщина стены, более связанная и единая, чем язык и тело, и никогда не преходящая, в отличие от обломанных веток куста. И фантомная боль мира как раз и говорит об этой вещи. Если эту фантомную боль разогнать и высветлить, то и уйдешь в то единство мира, которое не знает потерь и к которому так тянулся вчера, образуя и дополняя это единство, куст в снегу.

И тогда Стеч решил вернуться. Он, правда, не был уверен, что найдет обратную дорогу в это маленькое кафе на набережной, но попытаться все равно надо было. И он опять стал блуждать по мосткам, каналам, среди дворцов, кирпичных дворов, дворики и переходов с одной улицы на другую, с одной набережной к другой. Он устал и сел за пустой столик, стоящий на булыжной площади рядом с остальными, за которыми расположились туристы. Он сел, спросил у официанта воды и кофе и в первый раз ощутил запах канализации. В детстве он ощущал его намного чаще, потому что жил рядом со стадионом «Динамо», и там был пруд, в который вся нечисть и текла, а они там плавали на самодельных, собранных из ящиков плотках.

Официант принес воду, из кафе доносилась тихая музыка, он сидел на дне двора, окруженного четырехэтажными кирпичными домами, без единого деревца или травинки и думал, что отрезанный язык, который он видел в пакете, выглядел совсем не страшно. Он, даже, кажется, был еще влажным, слабо розового цвета, и, судя по всему, мог принадлежать женщине или ребенку. Скорее всего, женщине, потому что за то мгновение, пока он его рассматривал, он успел заметить, что кончик языка был вымазан красным, словно только что слизнул слишком густую помаду с губ.

Стеч сидел и думал, как мог попасть язык в пакет и каким образом он оказался на столике в кафе. Странно, что его не нашел хозяин, когда протирал столик, хотя, может быть, он ничего не успел заметить – только что был кто-то, кто незаметно оставил этот язык и ушел сразу же перед Стечем, а хозяин отвлекся на Стеча и не успел даже взглянуть на столик. Такое тоже могло быть, хотя все равно не укладывалось в рамки правдоподобия. Так или иначе, этот язык приводил Стеча к мысли, что сейчас в этом городе где-то есть женщина без языка, и если даже ей очень больно и надо позвать на помощь, то она не сможет этого сделать.

Это очень нелепая история, когда части тела с кровью и мукой разъединяются, отдаляются друг от друга и начинают делать вид, что они есть, хотя их на самом деле нет, потому что порознь он уже не может называться языком – он теперь только кусок мяса, окровавленный с одного конца и вымазанный краской с другого. Все, что распалось и отделилось, конечно же, перестает быть самим собой. И как язык перестал быть языком, потому что он разъединен и теперь не может ни глотать, ни разговаривать, а просто кусок мяса, так и вторая часть разрыва – женщина без языка, она теперь тоже уже, наверное, не может быть самой собою, потому что ее отрезали от языка, и она теперь только часть того, что до этого было.

Ей, наверное сейчас очень больно, подумал Стеч, а мне?

Ему тоже было больно. Конечно, ему было не так больно, как ей, ему было больно по-другому, но он тоже чувствовал боль. Она начиналась в животе, в том месте, где он когда-то был связан с матерью, пока не родился, и распространялась по всему телу.

Он подумал, что, наверное, никогда не увидит эту женщину, а, может, это была и не женщина, а старик или еще кто, он не знал. Но он сразу решил, что это женщина и что теперь в этом городе есть женщина без языка, чей рот залит кровью, хрипом и немотой, и что ей уже не сказать в жизни ни одного слова. Стеч также подумал, что когда двое целуют друг друга, каждый раз они делают это, помня, что когда они отделятся, то рот их будет залит кровью, хрипом и немотой и поэтому их так тянет друг к дружке, что пока они целуются, они про это знание забывают.

Рядом со Стечем сидела компания туристов из Германии, которые громко болтали и хохотали, но его это не раздражало, потому что он думал о женщине без языка, и еще он понял одну важную вещь, что раз она теперь перестала быть самой собой и разделилась на вырванный язык и остальное тело, то где-то же она должна продолжать быть. Ведь нельзя же сказать, что ее совсем не стало, после того, как ей отрезали язык. И тут он понял, что эта женщина, после того, как ей вырвали язык, должна либо исчезнуть, словно ее никогда и не было на свете – вместе со всей ее историей, со всеми своими воспоминаниями и воспоминаниями о ней самой, и такое, конечно же, бывает, просто мы этого не замечаем, либо – жить теперь везде. Потому что только «везде» может быть тем местом, где она по-прежнему остается самой собой и живет.

Стеч задохнулся от простоты этой правды, которую он чувствовал теперь не в словах, как всегда лишних и многочисленных в своей слабости, но в области живота и сердца – в тех местах, которыми он был когда-то един с матерью и с ангелом. Теперь он понял, что раз эта женщина с вырванным языком продолжает жить везде, то она везде и есть – и вот в этой собаке, что бежит по брусчатке, и в этом гогочущем туристе в бейсболке с целлулоидным козырьком, и в скатерти стола, и в нем, Стече, особенно в двух его местах, где он когда-то был одно с матерью и с ангелом, но не обязательно только в этих местах, но и во всех остальных.

И еще, хоть Стеч это и скрывал от себя, все это время он думал о той женщине, которую он встретил совсем молодым, а потом потерял. И он знал ее имя на вкус и повторял его, и писал ей письма за границу, но они больше так и не встретились, и он подумал, что все его письма были с вырванным языком. С ее вырванным языком.

Конечно, он не рассчитывал встретить ее здесь – свою первую и последнюю Беатриче, но, может, ее дочь.

– Какую дочь, что за дочь, – оборвал он себя. – При чем тут дочь...

– Please, water once more, – сказал он официанту и пошел в туалет.

– Не неправы поэты, не неправы, мать вашу! – бормотал, словно пьяный, Стеч, расстегивая

ширинку, – что их возлюбленная живет в звезде, потому что, где ж ей еще, мать вашу, жить, если у нее нет больше ни языка, ни тела. – И, ворочаясь в тесном сортире, похожем на наклонный пенал, застегивая брюки, Стеч вдруг ощутил в себе любовь к вырванному языку. Он вспомнил, как он целовался и как язык проникал ему в рот, и это всегда было немного странно и непривычно, потому что язык всегда был богом, который, оставаясь невидимым, выводил наружу мамины слова ласки ли, негодования, или слова учительницы, или бабушки, а вот теперь он, обнаженный и живой, попадает в твой рот, и от этого делается и странно и сладко. Он даже подумал, что и сейчас смог бы поцеловать этот вырванный из своих скрытных краев язык, но теперь это было бы совсем по-другому, потому что теперь он целовал бы не какую-то одну женщину, а целый мир, больной, страдающий и жестокий настолько, что этот поцелуй Стеча, скорее всего, убил бы, или наоборот, соединил его грудь невидимой пуповиной с утраченным при родах или чуть позже ангелом.

Он вышел, покачиваясь от утраченного в косом пенале равновесия, наружу, на яркий воздух со срезанным глубокой синевы небом сверху, с запахом канализации и кофе и по-прежнему гоголещим немцем, и снова сел за столик.

Вода в стакане поднималась вверх пузырьками и лопалась, и он знал, что если взглянуть, то в каждом пузырьке можно различить, правда, как в кривом зеркале, в миниатюре весь этот двор. Он допил стакан и вышел из дворика. Через минуту он оказался на *Fondamente degli Incurabili*, вдоль которой тянулась длинная стена с мемориальной доской русскому поэту, воспевшему это горестное место, предназначенное для больных сифилисом проституток, и с широким каналом Джудекка, на противоположном берегу которого возвышались колокольни и палаццо. У причала, на той стороне, стоял огромный пятипалубный белый паром и дул сильный ветер. Стеч даже слышал, как где-то трещит и хлопает в ветре флаг, и от этого ему стало хорошо, потому что такие же флаги трепались в его детстве в родном портовом городе, когда дул ветер.

– Наверное, когда те флаги трепались, в них уже была эта Венеция и этот канал, – решил Стеч. Он пошел дальше, оставляя слева больничную стену, на которой торчал одинокий мраморный ангел, миновал мост, еще раз залез в путеводитель и после следующего моста свернул на набережную *rio della Fornace*. В путеводителе было написано, что знаменитый поэт квартировал в розовом домике с альтаной под номером 252, и Стеч стал думать, что такое альтана, пока не дошел до розового домика с балконом на крыше, увенчанном колоннами, и тогда он решил, что это и есть альтана. И, хоть номер дома был не 252, а другой, никаких иных розовых домов на набережной, нависшей всем своим цветным великолепием над глубоким и недвижным зеркалом канала, не было видно.

Стеч решил, что ошибся, потому что входа с канала в дом не было видно, и еще потому что был уверен по описаниям посетителей квартиры, в которой жил у своей любовницы стареющий поэт, что квартира должна выходить окнами на широкий канал, на котором сейчас стоял белоснежный паром и трепались флаги. А если этот дом с альтаной и мог выходить окнами на канал, то в том месте, которое Стеч уже миновал, хотя и оттуда, хорошего вида, скорее всего, не получалось. Может, с самой альтаны канал и можно было разглядеть, но не из дома. Тогда Стеч подумал, что окна поэта могли выходить и на малый канал, на этот самый *рио Форначе* с водой-зеркалом, и решил пройти немного дальше.

Он подумал, что с окнами и домами поэтов ему очень-то до сих пор везло, потому что однажды одна его знакомая поэтесса, работающая в банке и боготворившая того самого поэта, чье имя было выбито на мемориальной доске набережной неподалеку отсюда, настояла на том, чтобы они отправились на розыски его дома в Питере. А Стеч тогда не хотел никакого дома, потому что очень устал, но поэтесса рвалась изо всех сил, и они, в конце концов, этот дом нашли, хотя Стеч и вымотался до смерти. Они подошли к этому самому дому Мурузи – довольно мрачному строению, и, пока поэтесса рассматривала еще одну мемориальную доску знаменитому русскому поэту, которому с досками везло больше других, Стеч, обалдевший до онемения от усталости, стоял и тупо рассматривал лежащий на тротуаре презерватив малинового цвета. Ни до, ни после он уже не видел презервативов таких необъятных размеров, и ему хотелось испытать радостную солидарность с тем человеком, который этот исполинский предмет пустил в сладостное дело

любви, и пожелать ему, чтоб и любовь его была столь же широкой и масштабной, но он не смог, потому что слишком устал. Он просто стоял и тупо смотрел на сдтое малиновое изделие, похожее на кукольный плащ, лежащий на тротуаре, и ничего не говорил. Он чувствовал, что успокаивается и что не зря сюда пришел.

А теперь он прошел дальше и свернул в тесный переулок, сразу за угол розового дома, в котором стояли леса и два человека могли разойтись с трудом. Когда он прошел в глубь переуллка, осторожно обходя трубы, то обнаружил с правой его стороны, в стене розового дома дверь с мемориальной доской рядом, на которой старый поэт был назван титаном. И вот тогда Стеч почувствовал, как в грудь его зашло настоящее счастье, потому что все было правдой – и старый поэт, который здесь умер, действительно был титаном, и Стеч этот дом нашел. Счастье зашло в грудь Стеча уже во второй раз в этом городе, и он подумал, что это счастливый для него город, потому что оно находит в грудь совсем не во всех городах, а здесь зашло, да еще и вернулось снова.

Он сел напротив двери на корточки, прислонившись к противоположной стенке узкого переуллка и уставился на дверь с заржавленной кнопкой звонка, под которым стояло имя любовницы старого поэта, и Стеч на миг решил, что она до сих пор жива, но это было бы невозможно, потому что тогда ей должно было бы исполниться сто с лишним лет. Наверное, тут жили ее дети или внуки.

Он сидел и думал, что, во-первых, этот знаменитый поэт, которого другие знаменитые поэты не очень-то жаловали, никогда так и не смог посмотреть из своей комнаты на панораму канала с Джуддеккой и трепещущими в ветре флагами и парусами, потому что такой комнаты просто не существовало в природе, а во-вторых, что в последние десять лет жизни он вообще перестал разговаривать. Тот русский поэт, чья доска висела на набережной неисцелимых, разговаривал до самой смерти, хоть и все сильнее матерясь, а этот перестал за десять лет до нее. Правда, русский поэт прожил намного меньше, и ему, наверное, казалось, что разговаривать все еще стоит, а старый поэт уже дожил до того возраста, когда разговаривать стало невозможно, и замолчал. Он просто каждое утро выходил из этой вот двери, шел по своему переулку в длинном пальто, с палкой в руках и молчал.

– Хорошо бы, чтоб он при этом еще и не думал, – пробормотал Стеч, – хорошо бы.

Ведь если от нас отрезают наши слова, то что от нас остается? Но он уже знал ответ.

Он полез в сумку за камерой и сделал фотографию звонка.

Он подумал, что оба поэта теперь лежали на здешнем кладбище на расстоянии двадцати шагов друг от друга и внезапно понял, что ему надо сделать. Сейчас он вернется в то кафе, где пахло горячими булочками, и разыщет сувенирный пакет, в который хозяин, может быть, и не заглядывал. И скажет, что это он его здесь оставил. И если хозяин в пакет не заглядывал, то он ему его отдаст. Правда, если заглядывал, то его запросто могут арестовать. Но ведь он не будет вести себя глупо, являться и говорить, где мой пакет. Он сначала присмотрится к обстановке, к хозяину, а там уж решит, как ему быть дальше. Стеч знал, что интуиция его не подведет, и знал, что теперь найдет это кафе хоть с закрытыми глазами. Потому что это было сейчас так, а не иначе.

И если хозяин отдаст ему пакет с вырванным женским языком, то Стеч наймет водное такси и отправится на остров Сан-Микеле, где похоронены эти два поэта и другие русские, и не только русские, люди. Там почти не бывает народа, сказали ему, и он выкопает ямку и похоронит там отрезанный женский язык, и когда он это сделает, то в мире многое изменится. Можно даже особо не вдумываться, что это произойдет. Просто остров мертвых получит, наконец, свой орган речи, на котором мертвые смогут общаться друг с другом, и живые смогут общаться друг с другом тоже, потому что до сих пор это ни у живых, ни у мертвых не получалось.

– А теперь получится, – подумал Стеч.

В сумке у него был ножик, которым можно будет выкопать глубокую яму, и он сделает это под тем деревом, на котором больше поют птицы, а что деревья там есть, он видел по телевиденью.

Через полчаса Стеч вошел в кафе, где пахло горячими булочками. На канале по-прежнему было никакого движения, и набережные тоже были пусты. Когда хозяин увидел Стеча, то радостно закивал ему, наклонился за стойку и вытащил небольшой пакет плотной коричневой бумаги.

– Ciao! – и он протянул, радостно улыбаясь и покачивая головой, пакет Стечу. – Tutto bene.

– Грации, – сказал Стеч, – грации милле.

Он взял пакет, протянул хозяину пять евро и вышел на улицу. Он боялся, что за ним будут наблюдать или тут же арестуют, но за ним никто не шел, и он понял, что интуиция его не подвела и что теперь все будет так, как он хотел. Деньги у него были, и до Сан-Микеле он доберется быстро. Он подошел к ограде канала и, приоткрыв пакет, вытряхнул его содержимое себе на ладонь, чувствуя, как сильно забилося у него при этом сердце.

На ладони Стеча лежала розовая пластиковая рыбка, похожая на те, которые он видел на холсте-копии Матисса в мастерской отчима. Стеч стоял и смотрел на ладонь с розовой рыбкой, а потом куда-то, то ли в себя, то ли на канал с колокольней и одиноким кипарисом, торчащим из-за ограды, а потом снова на ладонь.

– Я не мог обознаться, – сказал Стеч, – не мог. – Даже если все они тут обознались, я не мог. Не сегодня.

Потом он положил рыбку в пакет, засунул его в карман куртки и отправился дальше вдоль небережной, оглядываясь по сторонам, словно не понимая, как он здесь оказался, а день все длился и длился, и, казалось, ему не будет конца.

*

В ту ночь он понял, что умирает. Он лежал в темноте и слушал, как далеко на станции разгоняется электричка, звук набрал силу и медленно растворился в тишине. Рядом спала жена, и в полумраке он видел ее красивое, поглупевшее от сна лицо, а еще он видел луну в окне. Он уже давно не верил, что выздоровеет, а сегодня понял, что этой ночью умрет. Рановато, подумал он, но хуже уже не будет. Ему то было страшно, то не было. Луна потеряла края и стала нелуной, но он по-прежнему думал, что это луна, потому что то, чем она стала, он никогда не видел. А у нее исчезли края, и все-таки она была круглой, но он понял, что луна тут совсем не при чем, а то, что теперь было нелуной, расположилось так, что и время и пространство в нем остановились, и поэтому Оно находилось и очень близко, и безмерно далеко, а времени не было вовсе. Стены дачи то ли исчезли, то ли стали прозрачными, потому что он теперь видел двор, и видел, что деревья тоже стали прозрачными, как будто были сделаны из дыма или дымчатого стекла, а сарай пропал вовсе.

В Том, что теперь было перед ним, соединилось все, что он когда-либо пережил или мог пережить, подумал или только хотел подумать, но теперь во всех его прошлых мыслях и делах не было никакой боли, никакого отчаяния и никакого стога. А все, что было в нем неразрешимого и отчаянного, в свете, теперь идущем на него, отвечало на все, все на все откликалось, и было сплошным неподвижным потоком. Вся кровь и боль мира там тоже были, в этом бездонном мерцании, но они перестали быть кровью и болью, а стали чистым движением, как будто были сначала льдом, а теперь растаяли и стали другой формой и другим весом.

И тогда он понял, Кто это, и спросил его: кто написал Евангелия? Он так спросил, потому что сомневался, что их написали апостолы, ведь священная книга могла быть и подделкой, как и многое другое вокруг него. Поэтому он спросил и тут же услышал короткий ответ: это Мои слова.

Он посмотрел на свое тело – оно не исчезло, как березы за окном, оно оставалось тут. Жена тоже продолжала лежать рядом, и он ясно ее видел.

Через какое-то время он встал и выбрался во двор. Светало. Он сел за деревянный некрашенный стол, достал пачку «Беломора» и закурил папиросу. Дым был горький и приятный, а над садом вставало солнце – розовое, низкое. Он сидел и думал, что теперь, наверное, не умрет, что теперь он выздоровеет.

Потом, уже много позже, он прочитал, как дымилась и растворялась перед Богом гора, на которой стоял Моисей, когда Бог диктовал ему заповеди, и тогда он сказал Моисею: брат, брат... где боль в твоих скрижалях? где кровь? И если их там нет, то зачем они нам, и не рожаем ли мы их, как красный гриб – слизня на шляпке?

Моцарт и снег

– Мне надо пойти погулять, – сказал он. – Я хочу пройтись.

Она взглянула на него и быстро отвела глаза.

– Хорошо, – сказала она, – иди.

Четыре дня назад они приехали в Судак и остановились в частной гостинице. Дни стояли холодные, а на Рождество пошел снег. Хлопья летели с неба, мелькали на фоне красной черепицы крыш, мельтешили на улицах с невысокими домами, порхали над мокрым асфальтом, и из-за их белого хоровода у него временами начинала кружиться голова. Кое-где работали кафе, маршрутки ходили до крепости и в Новый Свет, а на море был шторм, и шум прибоя долетал до главной улицы с тополями и памятником.

Но сам туземный городок, расположенный ближе к побережью и состоящий в основном из боулингов, ресторанов, баров и бильярдных, раскинувшихся на спуске к пляжам, теперь бездействовал и выглядел, как брошенная декорация к отснятому уже кинофильму. По тротуарам бродили собаки, а у аптеки цвел куст белых роз, которые трудно было увидеть на фоне заснеженного газона.

Он пошел по улочке, ведущей к морю. Слева от него высилась розовая обшарпанная стена здания без единого окошка. Когда он шел вдоль нее, то заметил, что на нее приятно смотреть, что эта розовая облупившаяся поверхность его успокаивает. Хоть руки не стали трястись меньше, но дышать, глядя на ее невзрачную, светящуюся робким оптимизмом поверхность, все же стало легче.

Справа тянулась белая стена, на ее фоне высился черный неподвижный кипарис, словно вырезанный из жести. Он покосился на жестяное дерево, застывшее наподобие черной колонны, и пошел дальше мимо Фирейной горы, про которую Маргарита Сабашникова, жена поэта Волошина, сто лет назад сказала, что эта гора – дно мира, хотя, что она могла знать про дно мира.

Тем не менее, она сказала правду, потому что когда он и женщина, с которой он приехал, залезли наверх, на гору, то, несмотря на торчащие со всех сторон недостроенные коробки небольших гостиниц и пансионатов, дно, действительно, обнаружилось.. Вокруг высились горы, но морской горизонт поднимался выше глаз, и от этого казалось, что они забрались не на гору, а стоят на дне неглубокой тарелки, откуда весь остальной пейзаж выглядел примерно так, как он мог выглядеть со дна заглохшего кратера.

– Как на Луне, – подумал он – и снова ощутил, как тоскливо и сильно забилося сердце.

Он пошел дальше к морю, минуя здание профессионального училища, что когда-то было домом для многих поэтов и писателей, наподобие Волошинского, но менее известным и шумным. Сам Волошин приезжал сюда не раз и останавливался здесь у радушных и тихих хозяек, сестер Герцык – умницы Аделаиды, влюбленной в философа Бердяева, и тихони Евгении, переводчицы Ницше, влюбленной в поэта Вячеслава Иванова. В кого были влюблены тогда поэт и философ, он точно не знал, но подозревал, что не в хозяек дома, в котором они гостили.

Здание было сильно перестроено и выглядело совсем не так, как на старинной фотографии в альбоме достопримечательностей Судака, и пряталось за цепью кипарисов, на фоне которых снежинки казались особенно белыми и медленными. С моря дул ветер, и пахло водорослями, и, когда он стал различать шум прибоя, ему захотелось пить. Он зашел в магазин и понял, что гривны кончились и надо идти искать пункт обмена. Он пошел обратно и снова миновал дом двух сестер и розовую стену, которая его успокаивала, и училище, и черную колонну кипариса на фоне белой стены напротив. Только теперь розовая стена была справа, а черная колонна кипариса слева, а ветер дул ему в спину. Но снег все равно летел, не переставая, и по-прежнему был таким же праздничным и нарядным. Наверное, снегу было все равно, в какую сторону шли люди по улице, и поэтому он кружил и вился сам по себе, справляя свой недолгий южный праздник, слово невеста, что целый день шуршит в своей фате, чтобы на завтра повесить платье в шкаф и надолго про него забыть.

Но пока что снег лежал полосами на мокрых тротуарах, шелкал в сухих коричневых листьях акаций и таял под колесами маршруток, идущих в Новый Свет. На перекрестке, куда он вышел и откуда было видно море, у стены дома, на низком стульчике сидел человек в пальто и со скрипкой. Вокруг него были раскиданы коврики, а на асфальте стояло объявление, написанным синим фломастером на картонке, с предложением узнать свою судьбу или взвеситься. Розовые напольные весы лежали тут же. Человек со скрипкой был укутан до ушей, на голове была нахлобучена шапка с опущенными ушами, а под прижатой к скрипке щекой темнел платок. Руки музыканта были в обрезанных перчатках

Он обменял деньги в низком окошечке, выходящем на улицу, и подошел поближе.

Скрипка была исцарапана и выглядела так, будто ей было лет сто, не меньше, а лежащий у ног музыканта светло-желтый футляр, казался еще древнее, чем инструмент, и царапин на нем было, как на Моисеевом ковчеге.

Сначала он решил, что оглох, потому что, хотя маэстро и водил по струнам длинным смычком с высоким тетивой, прозрачной на просвет, никакой музыки не было слышно.

– Странно, – подумал он, – не оглох же я?

Но тут же сообразил, что слышит же он, например, шорох шин по мокрой мостовой и голоса людей, и даже чирикание какой-то птицы в ветках акации – все, кроме музыки. Тогда он подошел еще ближе – и тут он ее расслышал.

Он снова взглянул на музыканта, а тот, еще больше съежившись на ветру и пряча голову в поднятый воротник, водил рукой со смычком рядом с губами, а вторая, зажимающая струны, была рядом с подбородком – вся эта жестикуляция выглядела так, словно он запикивал обеими руками в рот невидимые куски булки.

Артист был небрит и не смотрел на прохожих. Музыка из-под смычка была писклявой и загадочной, и ни один человек, конечно же, не мог ее расслышать. Наверное, ее, в принципе, не следовало слышать, как не стоит, например, надеяться расслышать разговор дельфинов, потому что он происходит на частотах, недоступных человеку, и поэтому он сильно удивился, когда, в конце концов, все-таки распознал мелодию.

Это было чудовищно фальшивое исполнение песенки «Миллион алых роз», звучащей в заведенном ритме шарманки, с каждым новым куплетом в точности повторявшее все те места, где скрипач сфальшивил. И он подумал, что если у некоторых музыкантов и получалось сыграть тему дважды, один к одному, то никому и них еще не удавалось сфальшивить во втором исполнении точно так же и в том же самом месте, что и в первом. А «закольцованная» игра местного Паганини, казалась, была построена как раз не на паузах и не на законах гармонии, а на виртуозном и периодическом воспроизведении фальши. Собственно, вся писклявая и неслышная музыка держалась на безупречном, почти виртуозном воспроизведении именно фальшивых нот, как прихваченное прищепками белье держится в грозу на веревке.

Он снова ощутил жажду и вошел в магазин. Внутри было тепло, малоллюдно. В углу торговали водой и соками. Он подошел к продавщице и попросил стакан воды.

– Только бутылку, – сказала она.

– Хорошо, – сказал он, – давайте бутылку. И зачем-то добавил: – Пить хочется. Только откройте, пожалуйста.

Ему почему-то стало весело.

Продавщица, черноволосая осетинка лет сорока, с ассиметричным ртом и полными красивыми губами, не глядя на него, стала открывать бутылку.

– Каждый раз думаю, не разучилась ли я это делать, – сказала она низким мелодичным голосом, ковыряя крышку и по-прежнему глядя в сторону от него. – А вдруг разучилась?

– Кое-чему нельзя разучиться, – сказал он. – Плаванью, например, или на велосипеде ездить, или любви.

Она по-прежнему орудовала открывалкой.

– Я не умею плавать, – сказала она и скovyрнула, наконец, крышку. – И на велосипеде не научилась ездить.

– Только не говорите, что и с любовью все плохо.

– Нет, – сказала продавщица, улыбаясь, – с любовью у меня все хорошо. – Зубы у нее были ровные и крупные. – С любовью у меня все очень хорошо.

– Ну, этого вполне достаточно, – заверил он. – Это самое главное. Все остальное, вообще, не важно, если разобьется.

Она засмеялась.

– Правильно, – сказала она и быстро взглянула на него. – Правильно. Остальному можно научиться. А этому уже не научишься, если не успела.

Он взял бутылку, вышел на улицу и стал пить из горлышка. Вода была холодная и пузырилась. Над остановкой, к которой он шел, распрямилась ветка, и с нее бесшумно сыпался снег. Он заткнул бутылку погнутой металлической пробкой и сунул в сумку.

На улицах бродили компании отдыхающих – в последнее время народ потянулся в Крым на Рождество, из припаркованных машин доносилось тихое буханье динамиков, у паркетов валялись красные банки «Ред Булла». Он спустился к морю и пошел вдоль набережной. Пахло водорослями и дымом, и он остановился посмотреть, как волны накатывались на черный песок, шипя, словно сало на сковороде, а там, вдалеке у свинцового подножья Алчака медленно вздымались белым, как мазок кисти, крошечным прибоем и снова опадали, чтобы возникнуть уже на других местах.

Он снова почувствовал, что задыхается.

Почему у них все время одно и то же с той женщиной, с которой он сюда приехал? Почему этого нельзя избежать? Вот и теперь, когда она стала говорить ему, непонятно в какой связи, про страх Божий и как ей про этот страх объяснял один священник, он прервал ее и заметил, что она это уже рассказывала. С этого все и началось. Но могло начаться и не с этого. Могло начаться с чего угодно.

И вот теперь он идет вдоль моря и задыхается, ему не хочется жить. Он никому не станет про это объяснять, потому что не надо, считается, что это недостойно мужчины задыхаться и погибать из-за того, что тебя не поняла женщина, с которой ты сюда приехал. Люди иногда объясняли ему, что достойно, а что недостойно, но никто из них не соответствовал своим объяснениям. Рано или поздно приходило время, когда у них не оставалось ни сил, ни памяти о том, что достойно, а что нет. Кто-то из них подсаживался на наркотики, у кого-то умирала мать, кого-то кидал лучший друг, и кто тогда помнил об объяснениях? Он понимал это и жалел людей, но больше их не слушал.

Со временем он понял, что все играют по правилам, которые неизвестно кто установил. А потом он понял еще и то, что они даже не подозревают, что играют по чужим сценариям в чужой пьесе. А еще, намного позже, он увидел, что мало кто проживает свою собственную жизнь и умирает своей собственной смертью, потому что большинство народу проживало чужие жизни и, не успев создать тайну собственной смерти, пользовалось смертью стандартной, заемной. И еще он понял, что, в конце концов, никто из них не видит, что они добровольные жертвы и заложники. Потому что, на самом деле, им вовсе не были нужны ни своя, единственная и неповторимая, жизнь, ни своя смерть – их устраивали общие, безликие жизни и смерти, похожие на глянцевые банки «Ред Булла», выставленные на витрине.

Он сел на скамейку на склоне горы. Внизу, под ногами, набегали на песок волны, на них качались нырки. Он залез в сумку и достал большой нож в ножнах, который зачем-то таскал с собой во время путешествий.

Но ведь дышали же и они с ней свободой! Видел же он однажды, как ее лицо, ни с того, ни с сего, стало райским ликом, пугающе красивым, запредельным, а в другой раз, обнимая ее, внезапно почувствовал себя не отдельным человеком, а огромным потоком, у которого не было берегов, и что весь этот поток, вобравший всю вещьство мира, теперь и навсегда – был им и был ей. А еще

как-то раз он видел свое собственное бессмертие и понял, что никогда не рождался и никогда не умрет, и это была правда, как и то, что все состоит из любви, как бы нелепо и слащаво это ни звучало; все – и трава, и море, и лица, и имена, и даже кошка, расплюснутая на асфальте дурной шиной – все это покаленная любовь и ничего больше.

Море внизу ухало и шипело – город раскинулся подковой, начинаясь от огромного камня в пене и продолжаясь ярко-красным рестораном в виде башни на набережной, многочисленными домишками, красно-коричневой кишкой аквапарка, дымящей трубой и далеким, как луна, Ай-Георгием в тонких, похожих на серебряные карандаши штрихах снега на склонах.

Он сидел на скамейке, изо всех сил не давая тоске войти в горло. А когда вошла, достал нож из чехла и зажал в кулаке, чувствуя пальцами холодную и гладкую рукоятку. Он знал, что облегчение придет сразу же, как только лезвие пробьет ладонь насквозь. Не двигаясь, он ощутил боль и как она достигнет его, и как отчаяние вытечет вместе с кровью из-под припиленной к скамейке ладони.

Он занес руку с ножом, зачем-то сказал, не хочу. Деревянный человек, что жил в нем, ничего не слышал, но нож остановился, и тогда он напрягся и стал шептать и бормотать, что не хочет, чувствуя, как слабеет сила деревянного человека, который незаметно пришел к нему и поселился в нем. И тогда, продолжая шаманить и заговариваться, он опустил руку, засунул в лезвие в ножны и выпустил нож из рук. Тот тихо шлепнулся в раскрытую сумку. А он медленно лег на узкую лавочку, скрючился на ней, прижавшись щекой к мокрому шершавому дереву и заснул.

То, что он увидел, он потом забыл, и даже не знал, что видел это.

Как сначала черное, сладкое, красное и густое, а потом прикосновение к тому, что должно быть его плечом, там, в другом мире, а не в этом, где в сладком густом стоят зеленые деревья и чье-то родное лицо тихо светится в воздухе, но оно продолжается, прикосновение, и тогда та его часть, которой принадлежит плечо, начинает разрастаться, отодвигая сладкое и густое, и оно все разрастается и все равно никак не хочет соединиться с ним, который непонятно где теперь. Но вот голос бабушки, который он признает так же, как и то парящее над ручьем лицо, говорит, Анжечка, встань, подойди-ка к окошку, мальчик. И он раскрывает глаза, и сумрак комнаты, в котором видно склоненное бабушкино лицо, такое родное, и понимает, что именно сейчас она скажет что-то, какое-то такое слово, от которого все изменится, а на самом деле он уже расслышал это слово, прежде, чем она ему его сказала, потому что если бы он не расслышал его раньше, если бы он не знал его с самого начала, как только стал всплывать к своему густоющему плечу наверх из сна, то и потом он ни за что не смог бы его узнать, это слово и расслышать. – Встань, Анжечка, повторяет бабушка и берет его за руку, и он встает с кровати, как есть, босиком и в трусиках и чувствует, что бабушка его куда-то ведет, а он готов идти, конечно; он готов идти в эту ночь, куда бы она его ни повела, хоть на край света, вот только непонятно, пойдут они туда вместе с комнатой, или комната останется, а они уйдут сами. А она ведет его и ведет, и он переставляет босые ноги по полу, и они подходят к окну, которое расположено в одном шаге от кровати, но все равно они идут до него очень долго, как до другого города, а само окно закрыто занавесками, и тогда бабушка говорит, ну-ка закрой глаза, и он их закрывает, ощущая в уголке темноты сладкое и густое, и слышит, как шуршат, расходясь, занавески, и она говорит ему, смотри, ангел пролетел, и когда он открывает глаза, в комнате намного светлее, словно в нее вошел кто-то светлый и прозрачный и теперь стоит и чуть пошатывается, дыша, но его не видно, и она говорит белый ангел прилетел, и он подходит еще раз к окну, словно так и не дошел до него, и смотрит в окно.

Там, за окошком, белым-бело. И она уже не говорит ничего, а он все смотрит, смотрит и не может оторваться, и понимает, что это белый ангел пролетел, а все это белое за окном (не сразу он видит, что снег), все это стало белым, потому что ангел пролетел, и от него осталось это белое, и, наверное, он сам, ангел, тоже как-то тут остался, потому что он же не может весь улететь, а белое оставить и всё. А потом он медленно видит, что это снег, но ангел пролетел, и теперь этот снег живет вместе с ангелом, и он знает, что ангел похож на этот чистый, приглушенный, брезжащий за окном свет, который словно расстилается по полянке. И видно, как в калейдоскоп, только

тише, как белым-бела черная крыша шестнадцатого барака и как белым шаром стоит ель напротив дома, а сама поляна уходит, переливаясь, словно простыня, до самого склона горы, и тот тоже весь белый, хотя, что там дальше, уже трудно разглядеть.

И он стоит у подоконника и смотрит. Она говорит ему, простудишься, иди в кровать, ну, конечно, она говорит, простудишься, иди в кровать, но ее слова белый ангел пролетел еще не ушли, и они сильнее и волшебнее, чем простудишься иди в кровать, хотя и они волшебные, но он не уходит и стоит, и смотрит. Наверное, он там и сейчас стоит и смотрит, потому что если умный свет существует, то он все про нас помнит, как и умная вода, и может, как и она, снова остановить и воссоздать нас заново в каких-то местах, и мы потом чувствуем, в каких местах мы еще есть, кроме того, в котором сейчас находимся – это от того, что умный свет с его памятью все воссоздает и воссоздает, как мы стоим у окна в трусиках и рубашке и смотрим на белую от снега улицу.

А потом он, наверное, заснул в своей кровати, и к нему пришел маленький мальчик с волосами, заплетенными в косичку, маленький, с озорными, но добрыми глазами, и ты спросил его: ты кто, Моцарт? – а он отвечает, я – это ты, Анжей, давай играть. И тогда ты говоришь ему, согласившись, что он – это ты, потому что, кому же это может быть не ясно, и тогда он-ты, то есть вы оба, то есть я, идем за бассейн, за наш высохший цементный бассейн, и там Моцарт слезает с его бетонной стенки, выставив вверх оцарапанную коленку, задом, слезает в самые заросли, в которых водятся змеи. А день стоит солнечный и зеленый, и они поднимаются, продираясь через травы и кусты, сшибая толстые стебли палкой, поднимаются на верх холма, к муравейнику. – Надо облизать палочку, – говорит Моцарт, и они отламывают по сухой палочке и смотрят в муравейник. А там тысяча муравьев шевелятся и движутся, и хоть они, конечно, не укусят, но смотреть на них все равно страшно, как если долго стоять с той стороны бассейна на высокой стенке, откуда можно свалиться. Это музыка, говорит Моцарт, тыча облизанной палочкой в муравейник, видишь сколько их. И музыка вспучивается, перебегает, ныряет в маленькие пещерки, тащит хвойные веточки и все время клубится и растет, становясь как надувной шар, если его надувать вместе с муравейником, это музыка, слышишь? и ты умеешь петь и играть, и он тогда вспоминает, что он умеет петь и играть, и еще он умеет летать. И поэтому он встает на пятки, а потом отрывает их от земли, ложится на воздух и взлетает, а Моцарт летит за ним, потому что он сам и есть Моцарт, и они летят вместе. И они поднимаются все выше, а потом садятся на можжевельное дерево рядом, и он прижимается к Моцарту и видит, что у него совсем нет кожи, красная липкая поверхность его тела, очень страшная, и, наверное, он совсем развалился бы, Моцарт, но вместо кожи у него поверх тела натянута тонкая капроновая сетка, сквозь которую все равно все видно. И Моцарт говорит, не бойся, это не тело и не кровь, а музыка, она всегда такая, и она красная. А ты знаешь, что музыка это и есть ты, и что у музыки для тебя есть навсегда другое название, которое и есть музыка, но никак не вспомнить – то ли это название слово стихи, то ли слово песня.

А потом Моцарт спархивает с ветки и влетает в окно, где они только что стояли с бабушкой, но на улице больше нет снега, а он летит прямо в окно за ним, и, когда влетает, Моцарт смотрит на него шаловливым взглядом и говорит, я теперь всегда с тобой, и смотри, у тебя уже такая же как у меня. Что, такая же, спрашиваешь ты, а он говорит такая же, и ты смотришь на плечи и колени и видишь, что они тоже красные и липкие, и ты хочешь испугаться, а вместо этого начинаешь смеяться от счастья, которое все расширяется и расширяется в твоей груди, как солнце, а Моцарт тоже смеется и хватается тебя за нос, и щиплет, а ты кричишь – дурак, дурак, а он все смеется и говорит ты понял, это красное, красное музыка, а ты слышишь что музыка это слово стихи или слово песня, а потом все куда-то девается, и ничего не остается на какой-то миг, словно тебя вообще больше не стало, а может тебя тогда и не стало, а просто потом все началось заново. И, может быть, тебя несколько раз в жизни не становилось, и другие бы сказали, что умер, и гроб, и похороны, но ты знаешь, что тебя не становилось, а потом все начиналось снова, но не совсем в том же месте, где прервалось, потому что жизнь это не линейка, а это когда много, одновременно и с перерывами, но все равно ты остался Моцарт и все можешь вспомнить, сколько бы раз ты не исчезал безвозвратно.

Когда он проснулся, он был один. Деревянный человек, который хотел его покалечить, ушел, а вместе с ним ушла тоска. Он взглянул на часы – прошло всего десять минут, как он сюда пришел. Значит, спал он минуты две-три, не больше. Он выпрямился и осторожно вдохнул. Удушье не возвращалось. Море, по-прежнему, гуляло внизу широкими свинцовыми коврами, раскатываясь в белую неровную линию пены на пляжах, но теперь он смотрел на нее без отчаяния, ощущая лишь сильную, исцеляющую печаль.

И еще он подумал, что и в Моцарте, наверное, был жив такой вот небритый музыкант с перекрестка, который день и ночь только и делал, что пиликал свою фальшь так, что было слышно, в основном, только ему. Просто то, что для музыканта с перекрестка было фальшью, выверенной абсолютно точно – в этих самых местах у Амадея из Вены располагалась гармония, выверенная не менее точно. Но если это так, то какая тогда разница между фальшью и гармонией, если обе они выверены. Наверное, суть, просто-напросто в том, что и в Моцарте, и в скрипаче с перекрестка живут серафимы, по одному в каждом, и каждый делает свое дело, и может быть, когда мы однажды возьмем и проснемся от своего сна и станем ясно видеть и чувствовать, то поймем, что никакой фальши и не было, а был свободный уход за предел навязанных мелодий, просто каждый из этих двух делал это на свой страх и риск и по своему усмотрению.

Ульрих и другие

Девушка была рыжеволосая, стройная, глаза зелено-карие, фамилия – Ульрих. Тогда эта фамилия для меня ничего не значила, кроме того, что звучала по-немецки. При знакомстве я переспросил, блистая правильным выговором, заученным в школе:

– Ульрих?

– Точно! – обрадовалась она. – Мой папа тоже всегда так говорил. Хотел даже переделать фамилию, в паспорт с мягким знаком записать, но не успел, умер.

Умерший папа добавил ей прелести: у всех моих друзей и приятелей родители были живы, а она – сирота в такие юные годы, то есть и в этом девушка особенная, не похожая на других.

Я сразу же в нее влюбился.

Она приехала откуда-то с Урала, поступала с подругой Вероникой в театральное училище. Там их и высмотрел мой друг Витя, заговорил им уши, как всегда умел, и вот мы уже гуляем по улицам города. Витя с Вероникой, а мы при них.

Витя балагурит, рассказывает истории и анекдоты, берет Веронику за руку, за талию, за плечо, а я поддерживаю беседу веселым смехом и красноречивым молчанием.

Что делать – был робок.

Это с детства и во всем.

Мама просила: сходи к соседке, мы ей термос давали трехлитровый, возьми его, а то на огород завтра ехать.

У этой соседки был электрический звонок на двери. Ни у кого в поселке звонка не было, все стучали в двери или просто открывали их толчком плеча или ударом ноги, а у нее был. Еще она курила длинные папиросы и у нее было какое-то редкое имя. Изабелла или Агнесса. Я ее вовсе не боялся, хотя и понимал, что она какая-то не совсем обыкновенная. Курит. Имя странное. Звонок тот же. Я ее не боялся, но почему-то стеснялся идти. Представлял: вот я захожу на крыльцо, нажимаю на кнопку звонка, она открывает, я говорю: «Здравствуйте, вам мама термос давала, нам он нужен, верните, пожалуйста!» И все. И она вернет термос, и кончатся мои муки.

Но не мог себя перебороть. Что-то мне мешало, я раз десять проходил мимо крыльца. Надеюсь, что выйдет. Тогда будет легче. Но она не выходила. Значит, самому подниматься, нажимать на кнопку, говорить: «Здравствуйте, вам мама...» А она на меня посмотрит и подумает: надо же, какие жадные, не успели термос дать, а уже обратно просят!

Наконец я решился, преодолел три ступеньки крыльца, постоял перед дверью, поднял руку, опустил, опять поднял, опустил, опять поднял. Нажал на кнопку. И слетел с крыльца, побежал за угол, а потом все дальше и дальше. Выходила она или нет, неизвестно.

Утром, когда собирались на огород, мама спросила: «Ты за термосом ходил?»

– Ходил. Ее дома не было.

– Сейчас сходи.

– Рано еще, она спит, наверно.

– Ладно, нальем в банку.

И долго, очень долго во мне сохранялась непреодолимая стеснительность – сейчас благополучно преодоленная. Иногда накатывало, я становился веселым, легким, остроумным, особенно в компании, но приступы веселья сменялись неуклюжей угрюмостью.

Доходило до смешного: пошли однажды большой компанией на танцплощадку у Дома офицеров, мои друзья выбрали девушек, танцевали, а я все стоял, смотрел. Мне ведь не кто-нибудь нужен был, а обязательно чтобы очень красивая. Или всё – или ничего. И я такую увидел. Хрупкая девушка с большими глазами, рассеянно оглядывающая окружающих и как бы никого не ждущая. Двое каких-то подошли к ней, она их отвергла. Значит, скорее всего, и мне откажет. Ободренный этой мыслью, я подошел к ней:

– Потанцуем?

– Ладно, – сказала она неожиданно низким голосом, что меня очень взволновало. Такая хрупкость, тонкость, и такой вдруг женский насыщенный голос. Что-то в этом таилось загадочное.

Мы танцевали. Я спросил, откуда она.

– С кулинарки.

Как будто все должны знать, что такое кулинарка.

Я гадал: кулинарное училище? Техникум? Кулинарная фабрика? Или есть у нас район, который так называется?

В любом случае – что общего у меня может быть с девушкой, которая с кулинарки? Ничего. Но очень уж красивая.

– А ты откуда? – спросила она.

– В университете учусь.

– Ясно.

Мы станцевали один танец, второй. Я все смелее обнимал ее и молчал.

После третьего танца она сказала:

– Домой пора.

– Я провожу?

– Ладно.

Я пошел ее провожать.

Шел и молчал.

Не мог не выдавить ни одного слова, как заколодило, будто онемел.

Чем дальше, тем это выглядело смешнее и глупее.

Так мы прошли минут десять, пятнадцать, двадцать.

На каком-то повороте я сказал:

– Извини, я сейчас.

Свернул за угол дома и побежал прочь. Бежал долго, запыхался, устал. Сел на какую-то изгородь и промычал, как от боли:

– Дурак, дурак, ну, бл., и дурак!

Вот и в тот вечер на меня напал приступ каменной немоты.

Ульрих звали Инной, но я обращался по фамилии – как бы шутливо, а с моей подачи так называл ее и Витя.

– Ульрих, ты поступишь, – говорил он ей. – У тебя индивидуальность. И у Вероники тоже.

Меж тем Вероника была девушка хоть и симпатичная, но, на мой тогдашний взгляд, довольно типовая. Светлые распущенные волосы, расчесанные на две стороны, глаза голубые, платье-сарафан до земли, туфли на платформе, голос капризной красавицы и довольно глуповатый смех.

Мы забрели во двор, где были качели, Витя усадил на них Веронику. Она качалась, а он то вставал сзади, то оберегал спереди, хватал за плечи и прочее, что попадалось под руку – будто бы для безопасности. Раскачивал качели так, что Вероника пугалась, кричала, спрыгивала, он принимал ее всем телом, обхватывал, кружил, веселился вовсю.

Ульрих тоже садилась на качели, а я, имея гордость, не хотел копировать приемов Вити, поэтому просто раскачивал ее, стоя сбоку – как отцы раскачивают своих маленьких дочек.

И опять садилась Вероника, и опять Витя ее раскачивал, опять она прыгивала, а он принимал ее в свои объятия. В очередной раз как-то само собой вышло, что он ее поцеловал. А она его. И они стали целоваться, шаря друг по другу руками. Витя что-то шептал. Потом они пошли за каменное строение, на металлической двери которого была нарисована молния. Там был густой бурьян. Они скрылись в бурьяне.

– Такое ощущение, что Вероника за этим приехала, а не поступать, – сказала Ульрих.

– А ты поступать?

– Конечно.

Витя этим их и взял, выхватив из толпы несмысленной абитуры, вокруг которой кружились матерые охотники со старших курсов, присматривая себе жертвы. Он обещал поделиться опытом поступления, рассказать, как и чем угодить тем или иным педагогам из приемной комиссии, вот девушки и повелись.

Его самого через год, после третьего курса, отчислили. Он говорил, что за аморалку, за буйное асоциальное поведение. Потом от преподавателя его курса, с которым мне пришлось общаться, я узнал, что причины были другие.

– Экзамены провалил по мастерству. Что и ожидалось.

– То есть?

– Да не актер ни разу. Возбуждался, переигрывал. Самовозгонка. Можно было бы дотащить до диплома, но что хорошего, если потом из театра за профнепригодность выгонят? К тому же, это дело, – преподаватель шелкнул пальцем по горлу.

И я, вспомнив, признал: да, наверное. Самовозгонка. Но такая, что на многих действовала. Нетерпение, настойчивость, горячее желание добиться своего. Я ему завидовал. Даже рубль на выпивку он просил так, будто от этого зависела его жизнь. Лицо покрывалось бурными пятнами волнения, глаза становились шальными и неистовыми – глаза человека, сжигаемого высокой идеей. Он умел хотеть ярко и жадно, а мне слишком хватало того, что есть, – это бы прожить и прочувствовать, как следует, поэтому и я лишен был дара воспалиться и воспламенять других.

Впервые такое жаждающее и нетерпеливое лицо я увидел у него, когда решил тоже поступать в театральное училище и пришел к нему порепетировать. Задание Витя дал заранее – выучить фрагмент из «Дафниса и Хлои». Встретил меня в плюшевом долгополом халате с поясом; я, ходивший дома в застиранных трениках с пузырями на коленях, очень уважал это вещественное свидетельство Витиной смелой богемной натуры, хотел такой же, но не знал, как воспримет мама, если я попрошу его сшить. То есть как раз знал.

– Начнем! – сказал он. – Учти, главное для актера – вжиться в роль. Ты должен забыть, кто ты, а быть тем, кого играешь.

Я кивал.

– Значит, ты у нас Хлоя. Начинай.

Я был послушен старшему товарищу, хотя и не понимал, зачем он выбрал именно это произведение. Я тогда ни одной мысли не додумывал до конца, как, впрочем, часто и сейчас. И начал:

– «Больна я, но что за болезнь, не знаю; страдаю я, но нет на мне раны...»

– Стоп! Чувства нет! Эмоций нет! Не верю! Еще раз!

Я собрался с чувствами и эмоциями и завел заново:

«Больна я, но что за болезнь, не знаю; страдаю я, но нет на мне раны; тоскую я, но из овец у меня ни одна не пропала. Вся я пылаю, даже когда сижу здесь, в тени. Сколько раз терновник цапал меня, и я не стонала, сколько раз пчелы меня жалили, а я от еды не отказывалась. Но то, что теперь мое сердце ужалило, много сильнее. Дафнис красив, но красивы и цветы, прекрасно звучит его свирель, но прекрасно поют и соловьи, а ведь о них я вовсе не думаю. О, если б сама я стала его свирелью, чтобы дыханье его в меня входило, или козочкой, чтобы пас он меня».

Произнося эту чушь, я с удивлением наблюдал, как Витя разгорается, как вспыхивает пятнами его лицо, как глаза становятся безумными, а дышал он при этом так шумно, будто бежал за кем-то. Как только я закончил бормотания Хлои, он, взяв меня руками за плечи, заговорил, все больше впадая в экстаз:

– «Целовались мы – и без пользы; обнимались – лучше не стало. Так, значит, лечь вместе – одно лишь лекарство от любви. Испробуем и его: верно, в нем будет что-то посильней поцелуев».

С этими словами он сбросил с себя халат, под которым ничего не было, обнял меня, прижался и закричал куда-то мне за плечо:

– «Думая так, и в снах своих, как бывает всегда, они видели ласки любовные, поцелуи, объятия; и то, чего не выполнили днем, то ночью во сне выполняли: нагие, друг друга обнявши, лежали!» Ну? Ну?

– Чего?

– Не стой, как пень, ты же в образе! Хлоя целует своего Дафниса!

– Тебя, что ли?

– Нет тут меня, есть Дафнис!

– Стремно как-то...

Стоп, ошибка, слово «стремно» тогда, кажется, не вошло в обиход. Что-то другое я сказал. Но в том же духе.

Не вышло у меня с поцелуем. Витя обиделся, надел халат, жадно пил чай на кухне и сердито говорил мне, что актера их меня никакого не получится. Никогда.

И оказался прав.

Вернемся во двор с качелями.

Вити и Вероники все не было, а я о чем-то говорил с Ульрихь, тоскуя и все больше в нее влюбляясь. Сейчас вот возьму и тоже обниму ее, думал я. Вот сейчас. Но она на качелях, неудобно. Спрыгнет – и обниму. И поцелую. Нежно.

Она спрыгнула, я шагнул к ней, но она нагнулась, поправляя ремешок босоножки.

Распрямилась и крикнула:

– Ника, нас в общежитие не пустят! Ты идешь?

Молчание.

– Я ухожу!

Молчание.

Я проводил ее до общежития, где битком было абитуриентов. Спросил:

– Завтра увидимся?

– Обязательно, – сказала она и вдруг поцеловала меня. В губы. Быстро, коротко, но при этом коснувшись языком. Я поднял руки, чтобы обнять ее, но ухватил только воздух – Ульрихь уже уходила, помахивая на прощанье рукой.

Я влюбился окончательно.

И дал себе слово быть смелым и вольным, как Витя.

Завтра же. Приду вечером в общежитие, найду ее и, кто бы ни был рядом, обниму и поцелую. Так, как это делает Витя – со всеми и всегда.

Правда, никто у него не задерживался надолго. Даже обидно было за этих девушек – при этом все, как на подбор, красавицы и все, как нарочно, в моем вкусе – тонкие, умеренно высокие, с лицами легкого смугловатого оттенка, немного удлинненными, иконописными, сказал бы я сейчас, а тогда этого не знал.

И еще Витя часто брал меня с собой на свидания. Не понимаю, зачем.

Обнимал и поцеловывал девушек и одновременно беседовал со мной на разные темы: был очень начитан, оригинален умом и имел бездонную память. Девушки меня, само собой, ненавидели, я завидовал Вите, а он говорил мне после таких свиданий:

– Спасибо, брат, выручил. А то пришлось бы мне ее утешивать, а я что-то не в настроении.

Видно было, что едва начавшиеся отношения быстро становились для него обузой, сам он объяснял это паническим страхом перед женитьбой; больше брачных пут он боялся только призыва в армию. По счастью, какой-то родственник отца служил при городском военкомате и отмазывал Витю.

В общежитие я назавтра не попал. Не помню, что помешало. Кажется, было что-то вроде внезапной летней ангины.

Примерно через неделю я поправился, позвонил Витя, спросил о здоровье, предложил прогуляться.

Поехали с ним «в город», так говорили все, кто жил на окраине.

Пришли в старый дом, поднялись по деревянной лестнице куда-то под крышу, там, в крохотной каморке, Витю ждала Ульрих. Оказывается, она, как и Вероника, не поступила. Вероника уехала, а Ульрих осталась потому, что хотела найти работу и поступать на следующий год. И потому, что влюбилась в Витю.

Витя уселся на продавленный старый диван, она устроилась у него на коленях, Витя грел ладони у нее на талии, забравшись под кофточку, целовал то в ушко, то в щеку, то в уголок губ, а сам продолжал рассказывать мне о Достоевском, о главе «У Тихона», которая тогда не печаталась в тексте романа «Братья Карамазовы», но Витя где-то ее добыл, вот и пересказывал близко к тексту.

Я страдал. Я любил Ульрих еще сильнее, чем раньше. Я представлял, как Витя уестествляет ее. Хотел уйти, но не уходил, не терял надежды – ведь Витя вскоре по своему обыкновению соскучится, бросит ее, тогда, может быть, придет и мой черед.

Закончив рассказ о Достоевском, Витя, лаская Ульрих, нежно спросил у нее:

– А нет ли у тебя синенькой?

– Какая еще синенькая?

– Бумажка такая, циферка пять нарисована.

– Пять рублей, что ли?

– Догадливая.

– Перевод мама не прислала. Три рубля только есть. Зелененькая.

– Тоже хороший цвет. Пусть наш товарищ сходит за огненной водой, а мы пока побеседуем о доблести, о подвигах, о славе.

И Ульрих, поняв, что означают доблесть, подвиги и слава, отдала мне последние свои деньги, и я пошел за вином.

Добыл две бутылки плодово-ягодного напитка, отстояв длинную очередь (коротких тогда и не бывало) среди чуждых мне людей, по своей привычке с острым интересом слушая и разглядывая их – будто сошедший на берег заморский моряк среди туземцев.

Когда вернулся, Ульрих лежала на диване под одеялом, Витя сидел у стола в одних плавках, наигрывал на гитаре и напевал. Увидев меня, обрадовался: вино уже тогда было для него привлекательней девушек и музыки. Выпил сразу два стакана. Ульрих тоже захотела, выскользнула из-под одеяла и села к столу. Она была почти голой, только на чреслах было то, что называют трусиками или трусами, слова этого я никогда не любил, но других в русском языке нет.

Она немножко выпила, смеялась, влюблено смотрела на Витю. Я тоже выпил.

Потом мы пошли с Витей в коммунальный туалет, петляли в коридорах и коридорчиках этого сложносочиненного дома.

– Опередил ты меня, гад, – сказал я Вите беззлобно.

– А она тебе разве нравится? – удивился он.

– Еще как.

– Надо же. Ты ей тоже нравился, она говорила. Но она думала, что ты к ней не очень. Не проявил себя.

– Не успел.

– Хочешь, я ей скажу, и она тебе отдастся?
– Иди ты.
– Серьезно. Очень страстная женщина. Я скажу, что со мной по любви, а с тобой из-за темперамента. Скажу, что я это уважаю. И она согласится.
– Прямо при тебе?
– Я выйду. У тебя денег не осталось?
– Нет.
– Схожу к Татьяне, она недалеко живет, стрельну у нее, потом винца достану, у тебя времени будет дополна.
– Не смешно.
– Чудак, я не шучу!
– Не знаю...
– Я знаю!
Он оставил меня в коридоре, вошел в каморку. И вскоре вышел.
– Она тебя хочет. Страшно возбудилась, между прочим. Иди. А я к Татьяне. Главное, чтобы не заставила деньги отрабатывать. Я бессилен и пресыщен!
Он удалился, а я стоял перед дверью и размышлял: как войти, что сказать.
Чем дольше я стоял, тем желанней представлялась мне Ульрих и тем невозможней казалось то, что должно произойти.
И на цыпочках ушел.

Не прошло и месяца – Витя расстался с Ульрих. Любви он от нее хотел все реже, синенькие и зелененькие бумажки просил все чаще, ей это надоело. Она, как будущая актриса, была девушка с яркими чувствами, не хотела переживать свое горе в одиночестве, приехала ко мне, плакала, рассказывала, как Витя ее оскорбил и обидел, какую нанес ей душевную рану. Я обнимал ее за плечи и гладил по голове. Потом поцеловал ее. Она жарко ответила.

Все произошло само собой.

Через несколько дней Ульрих говорила мне, что любовь к Вите была как бы пробной, а настоящая у нее теперь.

Я был счастлив. Меня любят, я люблю, что еще нужно?

Ульрих приезжала ко мне часто, познакомилась с родителями. Однажды мама спросила:

– Жениться не задумал случайно?

– С чего ты взяла?

– Да так. Она-то замуж хочет точно.

– За кого?

– За тебя.

– С чего ты взяла?

– Вижу. Ты смотри, она ведь настырная, как все еврейки.

– Кто еврейка?

– Она.

– С чего ты взяла?

– А то не видно!

– В целом про евреев я ничего плохого не скажу, – вставил отец, который вообще ничего плохого никогда ни о ком не говорил. – Наша Марина вон за Володю Альтшуллера вышла – исключительно умный и дельный мужик! Они все такие. Хотя, конечно, себе на уме, это да.

– Настырные, – стояла на своем мама.

– Нет, но кто вообще сказал, что она еврейка? – добивался я ответа.

– Я говорю! – предъявила мама свой любимый аргумент. – А ты будто прямо и не знал?

Я не знал. В каком-то смысле я до этого вообще не видел, не выделял евреев. Так получилось, что Ульрих оказалась первой, с кого я начал приглядываться. Глаза определенного разреза. От-

ненные вьющиеся волосы. Губы своеобразной формы, хочется сказать нелепое: древние губы. Все это мне нравилось и даже сводило с ума, но не более того. Или не менее.

А после слов мамы – разглядел. Сравнил с другими, кого мог опознать хотя бы по фамилии, но раньше не был этим озабочен или, как сейчас говорят, не заморачивался: с Маринкой Гольдиной, Костиком Левиновским, Сашей Фишманом и другими, с кем учился в университете, а также с преподавателями Зильбертом и Майсиной. Да, есть сходство! Раньше я знал только, что Маринка умница и стихи пишет, Костик артистичен, легок и остроумен, а Миша во всем круглый отличник, что коллекционер джазовых пластинок Зильберт принимает экзамены жестко и неприветливо, а красавица Майсина устало, но снисходительно, если только не огорчить ее полной тупостью. Теперь я увидел другое. То есть видел и раньше, но как-то – не осознавая, не фиксируясь на этом.

Да, разглядел я, Ульрих, хоть и с немецкой фамилией, но явно еврейка. Именно настырная. Упрямая. Любит спорить и быть во всем правой. Чтобы на любой кочке торчать царицей горы.

Однако я все еще ее любил.

Я решил спросить ее. Это удалось сделать легко и как бы между прочим:

– Ох, – сказал я, – ты умная прямо не как просто немка, а как еврейка, ты не еврейка, случайно?

– У меня мама еврейка, – спокойно ответила она, и мне это спокойствие показалось деланным. – Для тебя это имеет значение?

– Нет, – сказал я и соврал, потому что вдруг почувствовал: имеет значение. Еще вчера не имело, а теперь имеет. Почему? Не знаю.

Кажется, именно с этого времени – запоздало по своему обыкновению, я понял, что есть *другие*. Касается это и нации, и ориентации, и много чего еще.

А насчет Вити мне объяснил один попутчик. Я тогда был уже радиожурналистом, возвращался из приятной командировки в город Балаково – по Волге, с ветерком, на легкомкрылом быстром «Метеоре», где был буфет с напитками. Свободная продажа алкоголя в советское время сама по себе была поводом выпить. Рядом оказался молодой врач, умница, балаковский житель и организатор самодеятельного театра при больнице, он там был и актером, и режиссером. Нашлись общие темы, я рассказал, как чуть было ни поступил в театральное училище, вспомнил, как смешно репетировал с Витей.

Врач слушал все внимательней и вдруг сказал:

– Все ясно. Латентный гомосексуализм.

– У кого?

– У вашего друга. А может, и у вас.

– Ну, у меня-то точно нет. Да и у него это было... Ну, игра, наверно.

– Странная игра.

– Да бросьте, никогда он с мужчинами в этом смысле ничего не имел, наоборот, был страшный бабник!

– Такое бывает. Человек сам себя оттягивает от того, куда его тащит, и насильственно втягивает в то, к чему равнодушен. Я психиатрией увлекался, там это описано. Неужели вы этого не почувствовали?

– Так, мелькнула мысль... Главное же не это.

– Для вас да. А с ним, кстати, что произошло?

Пришлось признать, что ничего хорошего не произошло. Когда Вите исполнилось двадцать шесть лет, на него свалилось сразу два несчастья: он женился и его призвали в армию.

Оба события свершились насильственным путем. Одна из его девушек забеременела, не успела или не захотела вовремя избавиться от плода, призналась матери и сказала, кто автор. Разгневанная мамаша явилась к родителям Вити, те, как порядочные люди, сразу же приняли ее сторону и начали дружно корить Витю. Витя не любил долгих упреков, для него легче было жениться, чем спорить.

А через пару месяцев после свадьбы новая беда: отцовского родственника, защищавшего от армии, куда-то перевели, тут же Витю вызвал районный военком и спросил:

– Ты где же, сукин сын, скрываешься, в каких лесах прячешься, когда у меня недобор по призыву?

– Во-первых, потрудитесь мне не тыкать! – гордо выкатил Витя свою впалую грудь. Что он хотел предъявить во-вторых, неизвестно, военком страшно заорал на него, затопал ногами и руками, Витю в тот же день отправили этапом к месту службы, в забайкальский стройбат.

Через год его комиссовали. Он вернулся не к жене и родившейся дочери, а домой, к родителям, несколько месяцев молчал и пил. И, несмотря на молодые годы, вскоре его шарахнул инфаркт, с которым он и прожил инвалидом оставшиеся ему на земле годы.

Был ли он из тех, кто любил на самом деле не женщин, а людей своего пола, но скрывал, пытался насильно себя переломить – не знаю. Не спрашивал.

Те, кто на самом деле был другой, но проявлял себя осторожно, учитывая законы советского времени, мне попадались несколько раз – и тогда, когда я еще толком не понимал этого, и тогда, когда начал понимать.

Например, после первого курса, летом, я каждый день ездил на пляж: переводился с вечернего отделения на дневное, надо было много прочесть, чтобы наверстать. В том числе по курсу античной литературы.

Я лежал возле чахлого кустика и читал Гомера. Рядом расположился мужчина лет тридцати. Не как я – просто подложив под себя рубашку, а аккуратно, на тонком одеяле. Солнечные очки у него были в золотистой оправе, пострижен очень аккуратно, доносился запах одеколона. Он тоже что-то читал. Поглядывал на меня. Рассмотрел обложку. Сказал:

– Тяжелое чтение для пляжа!

Я охотно объяснил, что студент, что учусь на филфаке. Я гордился этим.

– А я в техникуме преподаю, – сообщил мужчина.

И подполз, и положил раскрытую книгу на мою ногу. Даже не совсем на ногу, на бедро. Даже не совсем на бедро.

Ну, мало ли. Где пришлось, там и положил. Можете не верить, но я не придал этому значения.

Он поинтересовался, какие еще предметы преподают на филфаке. Я рассказал.

– Надо же. А у меня голая электроника. Вам, наверное, это скучно.

– Да. Я в этом ничего не понимаю.

– На самом деле в электронике есть своя поэзия.

– Может быть.

Я пошел поплавать. Он плавал рядом и ругал волжскую воду: мутная, грязная.

Мне она такой не казалась, но я не спорил.

Охаял он также пляж: окурки, бутылки, бумажки, кучи мусора.

С этим я был согласен, хотя меня мало волновала загрязненность. Бутылки, окурки и бумажки всегда можно отгрести под куст, а без них песок вполне чист и приятен на ощупь: мягок, сыпуч; интересно, выпадая в дремоту, рассматривать стекловидные песчинки, играющие, если их пропустить меж пальцами, разными цветами.

Так я купался, читал, лежал с закрытыми глазами, опять купался, читал, лежал, сыпал меж пальцев песок, преподаватель техникума время от времени говорил что-то ненавязчивое. А потом я собрался домой.

– Далеко живешь? – спросил преподаватель.

Я сказал.

– Далеко! Так и поедешь весь грязный?

– Я купался только что.

– Грязью грязь не смоешь.

– Дома душ приму.

– А до дома грязный поедешь? – огорчился преподаватель.

– Да почему грязный-то?

– А какой еще? Я вот рядом живу, пять минут на троллейбусе, у меня душ отличный, я сам кафелем обложил. И коньячку выпьем, поговорим. С тобой интересно поговорить, ты умный парень.

– Нет, – сказал я. – Спасибо.

– Не любишь коньяк?

– Не очень.

– Тогда вина выпьем. Есть отличное вино, грузинское.

– Нет, спасибо.

Я шел по пляжу, он шел рядом.

Я шел по мосту, он шел со мной.

Я шел от моста к остановке, он следовал по пятам, говоря что-то ровным и убеждающим голосом. Про душ, вино, про вино и душ, про то, как нехорошо ехать домой грязным.

Я не мог его послать – не тот характер (был).

Терпел.

– Сейчас троллейбус-тройка подойдет, и поедем, – говорил он. – Пять минут. Душ горячий, вино холодное, хорошо! – смеялся он и передергивал плечами, предвкушая удовольствие.

Подожел троллейбус. Не тройка, которая была нужна ему, и не десятка, которая была нужна мне. Кажется, двойка. Я напрягся. Приготовился. И вскочил в двери как раз перед тем, как они закрылись.

И уехал.

Не знаю, какое у него было лицо. Я не оглядывался.

И забыл об этом случае на следующий же день. Вроде бы, не такое уж заурядное событие, но я жил тогда совсем другими событиями и впечатлениями. Ненужное выкидывалось из памяти сразу же.

Если вспомнился этот эпизод, надо вспомнить и другой – когда я повел себя совсем иначе. Я был уже взрослым, за тридцать, был семейным, но повадки имел вольные, молодежные, любил покурлесить, любил компании, при этом изжил в себе стеснительность и вообще, как мне казалось, стал другим человеком.

Я не спеша шел домой откуда-то вечером, не чувствуя ни тягот, ни обязательств, думая лишь о том, где бы присесть и не спеша допить вино из бутылки, которую прихватил в гостях, заткнув пробкой, скрученной из газеты.

Свернул в сквер у театра оперы и балета.

Сень деревьев, запах роз, колонны театра, скамья с изогнутыми ножками...

Сел, выпил, закурил, откинувшись на спинку, с интересом прислушиваясь к своим мыслям.

Мимо шел мужчина лет сорока, невысокий, лысоватый, с прилизанными остатками светлых волос, в обтягивающих не по возрасту брючках, в кожаной курточке. Остановился, спросил:

– Угостишь отравой?

Я дал ему сигарету, он сел рядом, я поднес зажженную спичку, он прикурил, сильно втягивая щеки, закашлялся, бросил сигарету:

– Кто не начинал, лучше не надо и пробовать!

– А вы не начинали?

– Нет. Даже досадно. Пробую – не могу. Сразу тошнит.

– А я вот не могу бросить.

– Но ведь нравится?

– Вообще-то да.

– Зачем же бросать, если нравится? Если бы мне нравилось, я бы никогда не бросил. Вот пить нравится, я и не бросаю. Я и сейчас слегка. Не смущает?

– Нет. Я сам тоже.

– Отлично! Значит – резонируем!

Он спросил, кто я, с интересом слушал, хвалил мои занятия и меня, отметив, что с первых минут разглядел во мне оригинальность характера и острый ум.

На это меня купить было легко, именно любовь к похвале, а не оригинальность характера и остроту ума он увидел, как мог бы, впрочем, наугад увидеть это в любом человеке.

Я отблагодарил внимательного слушателя рассказом о себе, о жизни, о книгах. А он кое-что рассказал о себе. Что музыкант в симфоническом оркестре, флейтист, что увлекается пешеходным туризмом, был на Кавказе, на Саянах, на Урале с такими же, как он, энтузиастами. Ночевки в палатках, песни у костра. И главная ценность – дружба.

Становилось прохладно, я слегка поежился, он предложил:

– Накинь мою курточку. Я морозоустойчивый, а ты, я вижу, мерзнешь.

– Да нет, спасибо.

– Возьми, возьми. Стесняешься, что ли? Мы вот в палатках вместе спали вообще голые – и ничего. Что естественно, то не безобразно.

Меня из холода тут же бросило в жар.

Так вот ты кто! – подумал я. И меня, наверно, прощупываешь, надеешься – вдруг я такой же? Ах ты, сволочь!

Я уже не был наивным, я четко уже знал, что есть другие. Геи (тогда их называли иначе), евреи, чучмеки.

Про чучмеков, кстати, тоже не сразу узнал сермяжную правду, но помогали добрые люди. Например, однажды к отцу по какому-то делу приехал из дальних мест занятный человек, председатель колхоза и поэт. Он о чем-то долго разговаривал с отцом, а потом мы оказались вместе в автобусе, обоим надо было в центр, и он всю дорогу мне, тринадцатилетнему пацану, как взрослому, толковал о серьезных проблемах жизни.

Подобно акыну, он что видел, о том и пел. Увидел женщину за рулем троллейбуса, возмутился:

– Разве это женское дело? Она должна дом содержать и детей растить! И мужу помогать. Это по-русски, а мы копируем неизвестно с кого! Ты вот не помнишь, а был такой лозунг: «женщина – на трактор!» Идиоты! Ей рожать, а ее на трактор, а там так трясет, что все органы местами поменяются, чем рожать она будет?

Объезжали траншею на дороге, где велись работы, он негодовал:

– Ты посмотри, разрыли, а там асфальт в семь накатов! Как культурные слои! Раскопки Трои! Вместо того, чтобы асфальт один раз положить, но хорошо, они его семь раз положат – но плохо! Деньги зарывают! И это даже не вредительство, а просто разгильдяйство, понимаешь?

Я кивал.

Проезжали мимо рынка, он тыкал рукой в его сторону и обличал:

– Вот иди туда и посмотри, кто там овощами и фруктами торгует? Чучмеки! Азия и Кавказ! Ладно бы персики и виноград, но огурцы-то и яблоки – почему? Смотреть противно, у него морда – в три дня не обгадишь, а он гирьками балуется! У меня стихи есть на эту тему.

И он прочел стихи, которые навсегда засели в моей памяти – по-своему складные и ловкие:

Ты, как король, стоишь на рынке

И любишь денежки считать!

Пьешь молоко из нашей крынки,

А на тебе нужно пахать!

– Согласен? – спрашивал он меня.

Я мычал, что при желании можно было принять за согласие.

Мы ехали вместе не больше часа, но этот человек успел мне высказать все основные свои соображения насчет окружающих несправедливостей. И я это не то чтобы впитал, но – запомнил. Это осталось.

А с музыкантом симфонического оркестра я поступил так, как того требовал мой выработанный к тому времени кодекс чести.

– Курточка, говоришь? – спросил я, поворачиваясь к нему всем телом и занося кулак. – В палатке голышом, говоришь?

– Ладно, ладно! – вскочил он. – Успокойся!

Мне не хотелось его бить. Я никогда не любил драться, тыкать кулаком в лицо другого человека. Но меня толкало чувство долга и ясное понимание того, как на моем месте обязан поступить настоящий мужчина. Поэтому я ринулся на него, ударил по скуле, больно ушибив костяшки пальцев. Ударил еще раз, по затылку (он отвернулся, согнувшись). И пнул ногой в зад. Он упал за низкую ограду, в розовые кусты.

Я гордо плюнул на него и удалился, ужасно довольный собой.

И потом не раз рассказывал об этом своем подвиге.

Однажды это случилось в компании средневзрослых (под сорок) творческих людей, обсуждавших тему инакости – во времена, когда никто еще о толерантности не только не говорил, но и не слышал, когда все было просто, однозначно и совпадало с линией партии и правительства. Даже у тех, кто не любил партию и правительство.

Мой рассказ, как всегда, одобрили, было это на веранде южного пансионата, невдалеке приятно шумело море, все пошло гулять к полосе прибоя, а я остался переживать ласковое чувство довольства собой. Но остался и еще один человек, не из нашей творческой команды, как-то затесавшийся в нашу компанию. Не помню, как его звали. Впрочем, кажется, он и не представился. Он небольшими глотками отпивал вино и смотрел на меня, усмехаясь. После довольно продолжительного молчания спросил:

– Может, и меня по морде стукнете?

– За что?

– Я тоже из этих.

– Но вы же ко мне не пристааете.

– А тот приставал? Бедная жертва! Куртку ему предложили и этим на честь покусились!

Как, увы, часто со мной в жизни бывало, я тут же почувствовал правоту другого человека и свою неправоту, и мой геройский поступок стал казаться мне чем-то иным. Я не всегда умен, но часто догадлив, вот душа и догадалась правильно отозваться на слова незнакомца. Засмушалась.

– Слова-то какие находят! – продолжил этот человек. – Мужеложство, педерастия! Господи ты боже мой! Вот у вас тут есть мужик, не знаю, кто он, лет пятьдесят, плешистый, он тут с женой и дочками обретается, видел его днем у моря, а по вечерам бегают к нам в пансионат слюни ронять, с девушками заигрывает, надеется перехватить что-нибудь, но пока не везет, не дают ему, убогому. А потом возвращается и ложится с женой. И чем-то с ней занимается. Это как? Женоложство? По-моему, да. И миллионы мужей таким женоложством каждую ночь занимаются. А вот их жены как раз мужеложством. Впрочем, у каждого свой отдельный случай. Муж Вася – значит васеложство, жена Нина – ниноложство. И это не только отношений полов касается. У нас и коммунизмоложество в наличии – вот за что надо судить с пожизненным сроком, и родиноложество, куда ни глянь – одно ложство!

– Это не так.

– Да знаю, что не так, я раздражен, а человек, когда раздражен, имеет право быть необъективным! Когда очень доволен, тоже. Вы ведь тоже привираете. Потому что на самом деле вовсе своим поступком не гордитесь, а убеждаете себя, что гордитесь. Рассказываете, в сотый раз проверяете, и вам подтверждают: да, молодец, все правильно. Пока не попадется такой, как я. И вы сразу понимаете, что не молодец. Понимаете ведь?

При общей не вполне честности стремление к честности жило во мне всегда. И я сказал с радостью говорить правду:

– Да. Вы угадали.

– Угадать несложно. Все мы так живем, все мы видим в других не просто человека, а человека с плюсом. Или минусом. С добавкой, короче.

– То есть?

– Ну, как в школьном учебнике: шофер-кабардинец, мечтатель-хохол. Вот, допустим, прихо-
дите вы к врачу. Если это просто врач, он просто врач. А если этот врач еврей, вы автоматически
мысленно прибавляете: врач плюс еврей. Так или нет?

– Нет. Я не прибавляю.

– Врете, все прибавляют. Разница в том, что для некоторых еврей вообще в числителе. То есть
сначала еврей, а уже потом врач. А если обо мне узнаете, то для вас я сразу же буду в числителе
гомосексуалист, а в знаменателе то, кем я на самом деле являюсь. Неважно, кем. А я, поверьте на
слово, один из лучших специалистов в своей области, причем не в масштабах страны, а мира! Нет,
у вас стереотип, вы иначе уже думать не можете! У вас все люди с добавкой, с плюсом! Человек
– плюс национальности! Или плюс пол, цвет кожи, да мало ли! Вы иначе уже не можете видеть!

– Вы конкретно обо мне?

– Не только. Вы – то есть русские.

– А вы не русский?

– Я отказался от национальности. Я забыл про нее. Для меня это неважно. А ведь будет время,
нескоро, лет через сто, в паспортах национальность указывать не будут – если паспорта еще со-
хранятся! Жаль, не доживу.

Незнакомец ошибся: прошло не так уж много времени, и графа «национальность» из паспор-
тов исчезла, хотя вряд ли это привело к каким-то решительным изменениям.

– Вы путаете одно с другим, – сказал я. – Национальность одно, а то, что у вас, другое.

– Как хорошо вы сказали! – рассмеялся он. – «То, что у вас!» Будто это болезнь какая-то,
вслух сказать стыдно! Зараза! Типа – сифилис! Да к сифилитикам и то лучше относятся, у нас
венерическими болезнями мужики хвастаются, как наградами! Скажете, нет?

Я не сказал нет, потому что у меня было несколько знакомых, переболевших болезнями этого
рода, и они, правда, не только не скрывали это, но рассказывали с гордостью.

– Есть только одно зло! – поднял палец незнакомец. – Насилие! Насилие человека над чело-
веком. При этом насилии государства и общества в разумных пределах допускаю и даже одобряю.
Но человек человека насиловать не имеет никакого права. Ни в какой области! Хоть вам произ-
водство, хоть любовь, хоть что! Согласны?

Как мне было не согласиться, я уже хорошо это испытал на своей шкуре.

С Ульрих именно к этому и пришло – к насилию с ее стороны. Она звонила, приезжала, не
давала прохода и дыхания, ревновала, закатывала истерики, грозила самоубийством, десять раз
я с нею расставался, но получалось так, что опять сходил. Однажды у меня в гостях была уни-
верситетская подруга, Ульрих позвонила, подруга, оказавшись рядом с телефоном, взяла трубку:

– Вас слушают! Нет, вы туда попали. Он сейчас занят.

Я, иронично улыбаясь, протягивал руку к трубке. Эта улыбка тут же предала Ульрих, и де-
вушка, конечно, это предательство увидела. И начала подыгрывать.

– Кто я? Очень хороша знакомая. Совсем хорошая. Ладно, я его девушка, вы довольны?

Ульрих примчалась через полчаса на такси. К этому моменту я рассказал о ней подруге, и та
предложила помощь: сделаем вид, что она действительно моя девушка.

Как задумали, так и поступили. Ульрих разошлась во всю силу своего темперамента, назы-
вала разными словами и меня, и ее, дважды ударила меня кулачком в плечо и один раз толкнула
подругу, потом плакала, потом ей стало плохо, я поил ее чем-то из аптечки...

Наша с нею история кончилась, она через месяц уехала насовсем, а подруга осталась, началась
другая история, где я вынужден был продемонстрировать, что умею быть благодарным, а потом
с ее стороны последовал ряд нежных, ласковых, любовных и при этом вполне насильственных
действий. И сюжет, однажды проигранный и прожитый с Ульрих, повторился с нею, а потом во-
обще стал проклятием моей жизни, возвращаясь в разных обликах с пугающей неизбежностью.

Но мы ведь не об этом, мы –

а о чем?

О привычке добавлять, которой я отравлен и от которой, быть может, никогда не избавлюсь? Правда, бывает это только при первом взгляде, при первом знакомстве, а если сходишься, все уходит на второй или третий план, в глубокий знаменатель, но далось мне это не сразу.

Я и сам в глазах многих человек с добавкой. Либераст, креакл, образованщина, да мало ли. И за еврея не раз принимали, благодаря сомнительной фамилии. Или помню, как впервые столкнулся с тем, как гордая принадлежность к великой нации может, оказывается, кого-то напугать. Попав в Нью-Йорк на рубеже девяностых, я бродил с другом Петей, театральным режиссером, по аллеям Центрального парка, мы обсуждали наше совместное творческое будущее, представившееся блистательным и международным, присели на лавочку возле какой-то скульптурной группы. На нее взбирался малыш лет шести. Пыхтел, старался. Скатился, крикнув:

– Черт, опять!

Я удивился и обрадовался родной речи и окликнул его:

– Привет, тебя как зовут?

Мальчик глянул на меня, не ответил и, сопя, полез опять вверх.

– А тыними ботинки, попробуй босиком, тогда получится! – посоветовал я ему.

И тут раздался злой женский крик:

– Майкл, быстро сюда!

Я оглянулся. Молодая женщина, высокая, прямая. Взгляд на сына и только на него, никаких косвенных лучей, как это обычно бывает у моих соотечественников.

– Майкл, кому сказала!

– Я с ним даже не говорю! – недовольно ответил мальчик, косясь на меня.

– Ко мне, я сказала!

– Вы что, я же русский! – успокоил я ее.

Она посмотрела на меня с откровенной и даже подчеркнутой презрительностью и сказала:

– Вот именно!

И ушла, таща своего Майкла за руку.

Петя хохотал, утирал слезы и приговаривал:

– Я русский! Майкл,ними ботинки, а еще лучше штаны!

– Дурак, – сказал я ему.

– А ты умный? Скажи спасибо, что она полисмена не позвала. Улетели бы тогда с тобой на родину – только неизвестно, когда!

И мы заторопились в аэропорт.

...

А в другом аэропорту, задолго до этого, сидела красивая рыжеволосая девушка с гитарой в руках, с красивой фамилией Ульрих. Я сам предложил ей – проводить, помочь довести в аэропорт вещи. Довез, сразу же прощаться было неудобно, сел с нею в зале ожидания. Мы молчали. Потом она достала из чехла свою старенькую гитару (на которой играл Витя), провела по струнам и запела негромко, почти шепотом:

Нет, мой милый, никуда я не уеду.

А иначе мы не вынесем разлуки...

Слезы текли по ее лицу, я жалел ее, я опять ее любил, но терпел и ждал, когда же объявят посадку на рейс.

Библиотека

– Вы, говорят, книгами интересуетесь? – спросила меня в лифте соседка откуда-то с верхних этажей, женщина лет шестидесяти.

– В общем-то да.

– Не хотите купить мою библиотеку? Только условие: целиком. А то лучшее возьмете, а остальное куда девать? На помойку? Я прошу недорого, но за все сразу.

Щепетильная женщина, подумал я. Избавиться от книг почему-то хочет, а на помойку отнести стыдится. Другие давно уже выбрасывают с легкостью, моя знакомая рассказала, как однажды нашла у мусорных баков целую гору – ладно бы одноразовые детективы, но там была и классика, и современные очень неплохие авторы, она в три приема утащила домой три изрядных стопы, взяла бы больше, но ее опередил мусоровоз.

– Посмотреть бы сначала, – сказал я соседке.

– Нет, вам в принципе интересно? А то посмотрите и скажете, что не надо.

А вы все не глядя покупаете? – мог бы я спросить ее. Но не спросил. Сказал:

– В принципе интересно.

– Ладно. Часов в восемь вечера приходите.

И назвала номер квартиры.

Я заранее чувствовал себя обманщиком, потому что покупать не собирался ни в каком случае: и лишних денег нет, и своих книг девать некуда.

Но посмотреть очень хотелось: для меня с детства библиотеки – это приключения, путешествия с удивительными неожиданностями и открытиями.

Первой библиотекой был шкаф в доме родителей.

Бордовый том Пушкина альбомного размера с вытесненным профилем на обложке, гладкие листы, потом я узнал, что такая бумага называется веленовой.

Книга «Приключения доисторического мальчика», которую я начал читать на теплом летнем крыльце утром и не сходил до вечера, пока не закончил. Именно из-за этой книги я решил стать писателем – когда вдруг понял, что автор ведь не мог ничего знать про доисторического мальчика, он все выдумал! Замечательная профессия – выдумывать людей и целые миры, записывать, а другие будут в твоих мирах жить. Я так часто потом рассказывал эту историю, что даже начал сомневаться, не сочинил ли я ее, уж очень красиво. Кажется, все-таки нет.

Был еще трехтомник Маяковского, светло-серый, с черно-красными рисунками, резкими и странными – знамена, штыки, угловатые люди, стремящиеся вперед, но так изображенные, будто скопом куда-то валяются. Вначале была автобиография «Я сам», и она мне, первокласснику, страшно понравилась, все было смешно и понятно, за исключением каких-то мелочей. Стихов не понял, но тоже понравились. «Багровый и белый отброшен и скомкан...» ... «Я вышел на улицу, выжженный квартал надел на голову, как рыжий парик». Были там и стихи для детей, но после «багрового и белого» и «выжженного квартала» не впечатлили, я будто сразу из них вырос. Я вообще в детстве не любил детских стихов: мне казалось, что со мной будто кто-то заигрывает, нарочно придушивается. На елках и праздниках категорически не соглашался читать стишки, упирался до слез и ора. Наряжаться в какого-нибудь зайца, ладно, соглашался, ряженных нас было много, не одному выходить перед всеми, можно спрятаться под елку и сердито там сидеть. Я до сих пор уверен, что слово скучать произошло от «куча», толпа. В куче, в толпе, мне почти всегда скучно, один я почти никогда не скучаю. Ну, или с одним-двумя собеседниками. Всё, что больше, – куча.

А еще там была книга по отцовской зоотехнической части: «Коневодство». Атласно-коричневая – можно сказать, гнедая обложка, на титульной странице значилось: «Под редакцией и руководством С.М. Буденного». Меня это удивляло, я знал, что Буденный герой гражданской войны, рубака и воин, при чем тут редакция, мне казалось, это не сочетается. В книге описывались различные породы лошадей, начиная с древних, особенно запомнился рисунок скакуна с невероятно длинной изогнутой шеей, подпись указывала, что этот конь – родоначальник знаменитой араб-

ской скаковой породы. Были в книге цветные вкладки: фотографии лошадей с указанием масти. Звучало волшебю: каурая, вороная, соловая, игреневая, буланая... Несколько дней я хотел быть конеюдом.

Однажды в деревне, где я каждое лето гостил у родственников, мы засели в доме в дождливые дни, играли в шахматы, в шашки, в чапаевцы, в карты, в города, надоело, залезли в тумбочку под телевизором и достали оттуда журналы и книги. Их было мало, мы даже слегка поссорились, разбирая. Мне досталась книжка «Над Тиссой», зеленовато-черная, перечеркнутая белым тревожным названием, нарисован бдительный солдат с собакой. Про злобных шпионов, которых, конечно, поймали. Вторая была – «Хромой бес». На синем фоне звезды, чья-то тень и черные прямоугольники ночных окон. О приключениях студента и его спутника-черта, который открыл ему все крыши и тайны Мадрида (или Толедо, не помню, а лезть в постылый интернет не хочется), я читал взахлеб, не заметив, что дождь кончился.

Потом опять начались игры, речка, овраги, леса, скотомогильник, где, уверял брат, закопан ископаемый мамонт, только он завален, его не видно, но кусок бивня находили пару лет назад. В общем, было много интересного. А однажды мы пошли зачем-то на почту, в этом же здании была комната-библиотека, а в ней я обнаружил клад: восемь (кажется) толстых оранжевых томов – собрание сочинений фантаста Беллева. Я попросил сразу все, не дали. Только два. Ладно, я взял два, залез на дерево, где у нас было построено гнездо из мягких веток, и пропал. В день я прочитывал по книге. Заканчивал, бежал в библиотеку, брал следующие два тома. Знал, что не успокоюсь, пока не добыю до конца. Добил – и до конца лета забыл о существовании букв.

Кстати, о собраниях.

На учительскую практику меня послали в поселок Базарный Карабулак. Я вел уроки или сидел на занятиях своей кураторши, перенимая опыт, а во второй половине дня не знал, куда себя девать, торчал в гостинице, где не было ни радио, ни телевизора, а книг я почему-то с собой не взял. Забрел в местный книжный магазин, с изумлением увидел в свободной продаже черный том Ахматовой, еще что-то, что исчезло бы в моем просвещенном Саратове в течение минуты. Вернее – даже не появилось бы на прилавках. Зато, к слову, продовольственные магазины Карабулака были пусты, только соль, спички и сахар, поэтому кураторша, стеснясь, попросила меня, когда я собрался на побывку домой, привезти немножко масла сливочного, сыра любого, какой-нибудь колбасы и, муж очень хочет, кильку в томате. Дала денег. В Саратове тоже было не изобилие, масло и сыр помогла добыть мама, а консервы я нашел сам, причем не просто была килька, а килька с добавлением овощей, кураторша пришла в восторг и на следующий раз заказала десять банок. «Если вам, конечно, не трудно».

Так вот, в тамошней районной библиотеке я увидел собрание сочинений Бунина. Раньше не хватало времени, а тут, раз уж такой случай, прочел с первого тома до последнего, подряд. К концу держался на чистом упрямстве. Нет, мне нравится Бунин, но я всегда чувствовал в нем, в его прозе и его стихах, какой-то высокомерный холодок – не вообще, а направленный на меня, будто этот артистократ (так мой папа выражался) неведомым образом чуял, что по его изящным строкам будет шмыгать дерзким непочтительным взглядом плебей, сын плебея и внук плебеев. Это ощущение так до сих пор и осталось.

После Бунина я взялся за десяти томник Достоевского (серый в полоску). И тоже – от начала до конца. Так больших писателей и нужно читать. Я словно прожил с ним всю его жизнь, пусть и в сокращенном варианте, все перечувствовал, переволновался, перемучился, Достоевский меня выматывал до страшной усталости, я вышибал эту усталость ежевечерним портвейном.

О том, чтобы иметь такой десяти томник в личном пользовании, я в ту пору даже не думал, в открытую продажу он не поступал, а барыги-букинисты заламывали фантастические цены. Для тех, кто не помнит, сколько чего стоило, всего один пример: «Библиотека всемирной литературы» (200 томов) продавалась с рук за половину стоимости кооперативной квартиры. Или половину машины. Знаете, сколько она стоит сейчас – все тома и в прекрасной сохранности? Учйывая

инфляцию, для ясности назову в долларах: полторы тысячи. Квадратный метр жилья в Саратове или несколько дециметров в Москве.

Плохо?

Да.

Плохо и грустно.

Но, как всегда, все имеет две стороны: зато сбылась моя мечта и я купил даже не десяти-томник, а полное собрание сочинений Достоевского издательства «Наука», Ленинградское отделение, 1972–1990 гг., тридцать томов, тридцать три книги, скромный переплет серо-зеленого цвета, с желтоватой бумагой сорта «№1»...

А мог ли я представить во времена юности, что сумею когда-то добыть заоблачный, недостижимый, зеленее драгоценных изумрудов, чеховский тридцатитомник, который имели в советское время только короли жизни: академики и доктора наук, секретари обкомов и директора мясокомбинатов! Я добыл его. То есть я просто его купил, подарил себе на день рождения, найдя в интернете за полминуты, позвонив и услышав, что могу приехать хоть сейчас.

Сколько стоит? – конечно же, интересно вам. Не секрет. Столько, сколько ноутбук средней руки. Или обед в отеле «The Ritz-Carlton» на четверых без шампанского. С шампанским – на двоих.

...

Общественные библиотеки меня всегда поражали несусветным богатством, даже если это были всего три комнаты помещения, переделанного из обычной трехкомнатной квартиры, как было у нас в новостроечном районе, куда мы переехали из пригорода. Странное ощущение: заходишь в обычный подъезд обычного дома, на первом этаже три обычные двери, за ними обычные люди живут (вот повезло-то им!), а рядом – сказочный мир, пещера Аладдина.

– «Волшебник изумрудного города» есть?

– На руках. Есть «Семь подземных королей».

– Это я уже читал.

– Да ты и «Волшебника» пять раз брал! – библиотекаряш смотрела в формуляр.

Это правда, некоторые книги я перечитывал и перечитываю регулярно. За исключением тех, что помню практически наизусть и, не читая, могу воспроизвести в уме – «Мертвые души», например, или «Евгений Онегин». А в студенческие годы у меня была традиция: в мае, как раз тогда, когда надо было усиленно готовиться к сдаче сессии, я приходил в зал периодики научной библиотеки университета и брал два номера журнала «Москва» – те самые, предпоследний номер 66-го года и первый 67-го, фиолетовые, проклеенные и прошитые по корешку, залистанные, зачитанные так, что листы истончились до состояния папиросной бумаги. За журналами девушке на выдаче не надо было даже ходить, они всегда лежали у нее в одном из ящиков стола – только нагнуться, выдвинуть, достать и положить передо мной с улыбкой. Я отвечал тоже улыбкой: мы друг друга понимали. В конце читального зала периодики была комната со стеллажами реферативных журналов, в нее почти никто никогда не заходил. За стеллажами – полуподвальное окно с широким подоконником. Я клал журнал на подоконник, ложился локтями, утыкался и исчезал, пропадал, растворялся в истории Мастера и его возлюбленной; эта история остается для меня главной, хотя ко многому другому остыл. Книга предполагает простодушие и влюбленность, тогда все будет правильно.

Я любил сидеть в филологическом зале с высокими окнами и потолками, где были длинные столы из массивного дерева, лампы с зелеными, конечно же, абажурами, читал, конспектировал, а однажды взял да и написал свой первый рассказ – напрочь не помню, о чем. Четыре листка (я уже тогда предпочитал писать на листах, а не в тетрадях), покрытые летящими строками. Настоящая рукопись настоящего рассказа, я был в восхищении. Я взял эти листки и спустился в полукруглый вестибюль библиотеки – покурить и перечитать рассказ, чтобы насладиться им. А там на свою беду стоял, никого не трогая, Сережа Золотцев, умница и поэт, который в лихие времена сделался, говорят, продавцом пива, мы с ним были едва знакомы, другой курс, другая компания, но я подошел к нему и сказал:

– Хочешь рассказ послушать? Он короткий.

Сережа, втягивавший сигаретный дым, закашлялся, затряс головой, что я принял за утвердительные кивки, и, не давая ему опомниться, начал.

Он слушал, глядя на листки и тоскливо переминаясь. Выслушав, сказал:

– Нормально. Узнаваемо. Реалистично.

Сильнее оскорбить меня было нельзя: я в ту пору ненавидел узнаваемость и реалистичность, я старался, чтобы было необыкновенно и фантастично. Дождавшись, когда Сережа уйдет, я порвал листки и выкинул их в урну.

А однажды девушка, работавшая в библиотеке, пустила меня в хранилище. Вообще-то мы хотели там немного поцеловаться, но я увидел эти книжные катакомбы, бесконечные лабиринты с тысячами и тысячами книг – и обомлел. Я никогда не видел такого богатства в одном месте. И не по одному экземпляру стоят книги, а вот, например, три рядом одинаковых толстых тома, «Гаргантюа и Пантагрюэль». Я знал, само собой, что книги издаются многотысячными тиражами, у меня до сих пор где-то стоит выпущенный Приволжским издательством, размещавшемся в Саратове, «Обломов» в картонном переплете, 500 000 (пятьсот тысяч) тиража, но впервые видел живую столько одинаковых книг – как золотые слитки мерцали они на полке. И целовались ли мы с той девушкой, не помню, а три эти книги – помню.

Первая домашняя библиотека, которая меня поразила, была у моего одноклассника Лени Амхира. Мы учились с ним в пятом классе, я увидел у него «Следопыт» Фенимора Купера с узнаваемой золотистой виньеткой серии «Библиотека приключений», захлебнулся слюной и попросил почитать.

– Я сам сейчас читаю. У меня еще Купера книги есть, хочешь?

– Конечно!

После уроков мы пошли к нему домой.

Там, в его комнате (у Лени имелась своя комната!), было целых два шкафа, а в них рядами стояли Фенимор Купер, Жюль Верн, Майн Рид, Вальтер Скотт, Стивенсон, Джек Лондон... – и в «Библиотеке приключений», и собраниями сочинений, и отдельными томами.

– Выбирай, – сказал Леня.

Выбрать, конечно, было невозможно, я это понял сразу, поэтому ткнул пальцем в верхнюю слева:

– Вот.

– Это не Купер.

– Неважно.

Я начал с левого верхнего края и через несколько месяцев добрался до правого нижнего...

И, конечно же, я хотел, я всегда хотел, чтобы в этом безбрежном книжном море появились и мои островки, и они появились, но даже тогда, когда я держал первую свою книгу, я не испытывал такого счастья, такого предчувствия чуда, которое у меня было, когда доставал из шкафа Лени очередную вселенную, вместившуюся между двумя обложками на нескольких сотнях страниц. Может, потому, что о своей книге я уже все знал и не хотелось читать ее. Сейчас я так же отношусь к выходящим книгам, любопытства хватает лишь на то, чтобы посмотреть, какой получилась обложка, мне лень дарить ее, говорить о ней, читать что-то о ней, она ушла в прошлое сразу же после выхода и даже раньше, после написания. Должно миновать не меньше пяти лет, чтобы мне захотелось глянуть, что же я там когда-то сочинил, и часто бросаю после пяти страниц – либо сразу же вспоминаю, либо понимаю, что это чтение меня не затягивает, оно похоже на спитой чай. «Вторяк», как говорит один мой приятель из Новосибирска.

В восемь часов я был у соседки.

Есть квартиры, в которые попадаешь словно через машину времени: все застыло таким, каким было много лет назад. В этом случае – семидесятые-восьмидесятые годы. Кто-то будто старался,

чтобы ничего из нового времени сюда не попало. Мебель типа «стенка», по стене и выстроенная – шкаф платяной, шкаф книжный, сервант. Из этого же набора, с полировкой тускло-коричневого цвета, – стол, стулья, два кресла. Громоздкий телевизор, люстра с хрустальными висюльками, вытертый палас цвета золотая осень – и, кстати, листья изображены. Желтые.

А в книжном шкафу не оказалось ничего неожиданного. Ничего личного – в том смысле, что ничто не выдавало каких-либо особых пристрастий владельцев. Книги попали сюда в советское время так же, как попадали и в другие квартиры: куплены по случаю, по блату, по выпавшей подписке, по талонам на макулатуру. Естественно, были здесь собрания сочинений «Библиотеки журнала «Огонек». Толстой, Серафимович, Тургенев, Шолохов, Гиляровский, желтый трехтомник О.Генри – я узнавал книги по корешкам, не успев даже разглядеть фамилию автора.

Собрания для красоты стояли в первых рядах, я заглянул и во вторые. Советская литература того времени. Сартаков, «Философский камень». В двух томах. Тираж сколько? Двести тысяч. Мама дорогая! Двести тысяч! Панферов, «Бруски». Почему-то только первый том. Тираж сто тысяч, Краснодарское издательство. Какой-то С. Кузнецов, «Сын революции». В двух толстенных томах по восемьсот страниц. Сто тысяч. Краснодарское издательство. Какой-то Б. Зуев, «Холодное пламя», тоже толстая книга. Сто тысяч. И опять Краснодарское издательство. Почему так много Краснодарского издательства? Семья оттуда? В очередной книге попало написанное делопроизводительным ровным почерком: «Дорогому Саше в День Рождения! Кисловодск, 1978».

Ага, ясно. Они не жили в Краснодарском крае, они ездили туда на курорты. И покупали книги в тамошних магазинах – какие придется, лишь бы почитать.

А во втором ряду нижней полки были медицинские книги и справочники. Кто-то из семьи был врачом, может, сама хозяйка.

– Эти можете не брать, – сказала она, упредив мой вопрос. – Кому-нибудь отдам. Только кому они нужны? Все теперь знания достают из интернета. Или вообще отсюда, – она показала указательный палец, брезгливо на него покривившись.

– Да, – сказал я для поддержания разговора, – это уж точно.

Конечно, было тут и несколько сборников кулинарных рецептов, справочники лекарственных растений, книжка по аутотренингу, книжка психолога Леви, несколько публицистических книг начала девяностых годов, когда пошла косяками и расхватывалась всеми горькая правда о только что ушедшем пагубном прошлом.

И никаких детективов, никакой развлекательной литературы. Совсем. Члены этой семьи, если уж читали, то читали серьезное. А для развлечения телевизор есть. Вполне понимаю, я сам такой, жадничаю тратить время на жанровую бесовскую прелесть.

Но в целом эта библиотека умудрилась ничем, ни одной книгой, кроме разве медицинских, намекнуть хоть на что-то о своих владельцах, об этой женщине, о тех, кто жил с нею здесь – квартира ведь трехкомнатная, значит, была населенной, как это водилось, двумя, а то и тремя поколениями.

Она молчала.

То есть библиотека молчала. И женщина тоже.

Единственная зацепка не в том, что есть, а в том, чего нет – я не увидел книг, изданных после начала девяностых. Совсем.

То ли дело у моего соседа Н., невропатолога и массажиста (на этой почве и познакомились), пятидесятилетнего холостяка с неостывшим интересом к жизни. Он ходит на премьеры модных фильмов и спектаклей, у него на стеклянно-металлических стеллажах в стиле хай-тек стоят Мураками, Дэн Браун, Коэльо, Пелевин, Сорокин, Минаев, не тот Минаев, Дмитрий, который из 19-го века, переводчик Гейне, Гюго, Мицкевича, введший многих европейских писателей в русский обиход, а известный Минаев, писатель, открывший, что *счастье – это трахаться не выходя из дома... и два бигмака по цене одного* и вызвавший этим откровением заслуженные восторги. Н. вовсе не поклонник всех авторов, которых читает, но полагает, что надо быть в теме. Быть в курсе.

К тому же, всегда есть о чем поговорить с продвинутыми девушками, до которых здоровый и бодрый Н. большой охотник.

На такую библиотеку только глянешь – и все понятно.

Или вот у моего друга, критика и теоретика литературы, библиотека не просто говорит все о владельце, она о нем трубит во всю мощь, заглушая остальные голоса, – полки с книгами занимают почти все стены, они громоздятся на полу, под окнами и на подоконниках, но не как попало, а ровными рядами, невольно вспоминаешь хронику о защите Москвы в сорок первом, такими же ровными рядами складывали мешки с песком: враг не пройдет, не подстрелит коварной пулей.

А какая библиотека у еще одного моего друга, ах, какая библиотека! – не шкафы и не полки, а стеллажи в отдельной большой комнате его огромной двухсотметровой квартиры, которая располагается в таком центре Москвы, что центрее не бывает: у Пушкинской площади, возле дома, где «Макдоналдс», но в тихом месте, во дворе. Все в этой библиотеке тщательно подобрано, продумано, имеются ярлычки: «Философия», «История», «Религия» и т.п., все авторы по алфавиту, классики отдельно, живущие отдельно, в полном ассортименте, потому что принцип этого удивительного человека: не обязательно все любить, но все достойно внимания и уважения. Он успевает это читать или хотя бы проглядывать, хотя страшно загружен обширной культуртрегерской деятельностью, во многом бескорыстной, деньги у него из других времен, из приключенческого нефтяного прошлого, о котором он мне рассказывал, но у меня плохая память на такие сюжеты. Это человек, идущий в ногу со временем и даже опережающий его, у него всегда самые последние модели компьютеров, телефонов и всех гаджетов, какие только возможны. Но книги продолжает покупать, с горечью рассуждая:

– В природе человека ценить то, чем он владеет. Моя женщина, мой дом, моя книга. Это не просто чувство собственника, твое становится в какой-то мере тобой, ты его оберегаешь, защищаешь, хранишь. Это часть тебя. Ты можешь это передать – кроме женщин, конечно. По сути весь цивилизационный слом сводится к изменению отношения к собственности. Без всякого социализма все становится общедоступным. Ты можешь в один клик попасть куда угодно на Земном шаре, в любой дворец или бунгало, иметь любую красавицу во всех мыслимых и немыслимых видах – пусть не владеть, только видеть, но многим этого вполне хватает. Больше того, многим только это и надо, дай ему в собственность какую-нибудь Киру Найтли, так он еще и застремается: с ней мороки не оберешься, на фиг, на фиг, ее в интернете можно вертеть, как хочешь, можно даже осязать, есть такие технологии, а скоро будут трехмерные копии, а потом и реальные двойники, из плоти и крови, это обязательно будет, если человечество к тому времени не загнется. И с книгами та же история – вот тут, – он брезгливо, но с вынужденным уважением покачал на ладони серебристый, изящный i-pad, – у меня тысячи книг, что-то могу читать он-лайн, что-то купил, но при этом не приобрел ничего, кроме букв и даже не букв, а их изображения. Реальной вещи нет, понимаешь? И так будет во всем. Общедоступные тексты, общедоступные жилища, транспорт, общедоступные женщины и, возможно, даже дети на любой вкус и выбор. Но виртуальные. Поэтому я пока держусь за живые книги. Вот эту, – он достает том поэта В., матово-черный и увесистый, как обелиск, – я купил с первой стипендии у одного маклака за двадцать рублей, и это было еще по-божески! Тут все мое, вот это пятнышко на обложке мое, вот эта загнутая страница моя, вот эта отметка карандашом, понятия не имею, что я тут хотел отметить, но она моя, она живая, понимаешь?

Конечно, я понимал и грустил вместе с ним, хотя уже свыкся с тем, что многое теперь не скапливается вокруг меня (книги, старинные диски с фильмами, доисторические пластинки с музыкой), а хранится непосредственно во мне. И если захочу оживить, достаточно открыть файл и нажать кнопку, приводя в действие совместимые драйвера и коннект-менеджеры...

А была библиотека, которая меня добродушно насмешила: я оказался в гостях у одного коммерческого человека в подмосковном особняке, великолепном, без дурацких башенок и стрельчатых окошек, современном, красивом, удобном. В гостиной, в шкафах, высящихся почти до по-

толка, я увидел ровные ряды книг, которые можно увидеть в любом магазине при входе, то есть на массового потребителя. Детективы в кроваво-красных суперобложках, двадцать или тридцать одного автора, столько же другого, третьего, четвертого, само количество выстроившихся в ряд одинаковых книг, видимо, хозяйина очень утешало – так веселит душу строителя вид ровной кирпичной кладки; кстати, он именно строитель.

А потом он повел меня в винный погреб, чтобы похвастаться своей коллекцией бутылок, привезенных из разных стран. И там, в коридоре, я увидел старенький книжный шкаф, в котором разрозненными томами стояли сосланные в подвал Толстой, Чехов и Достоевский.

Если бы выдумать, показалось бы карикатурой.

Здесь же, у этой загадочной женщины, был не просто типовой книжный набор советского обывателя, а образцово-типовой, но, кроме этого, ничего понять о людях, здесь живших, было нельзя, а мне хотелось узнать или догадаться, сказывался профессиональный зуд.

Хотелось также понять, почему она решила махом избавиться от всего этого. Тут много макулатуры, но есть и хорошие книги, пусть в популярных дешевых изданиях. Почему не передать детям и внукам? Если, конечно, есть внуки. Между прочим, ни одной детской книги не видно. Или уже розданы? Где муж этой женщины – если он был? Где дети – если опять же были? Где внуки?

Я вынимал книги, рассматривал, ставил обратно. Тянул время.

– Так что? – спросила женщина.

– А сколько вы хотите?

– Я цен сейчас не знаю, вы бы сколько дали?

– Сложный вопрос, учитывая условие. У меня некоторые у самого есть, а много таких, которые придется, извините, выкинуть.

– Вот и выкиньте, на здоровье.

Может, это и есть разгадка? Она хочет избавиться от книг чужими руками. Готова продать совсем задешево, и пусть другой тащит их на помойку. А ее совесть будет чиста.

Но чем они так ей мешают? Как возникло это желание подчистую от них избавиться? Я попробовал что-то нащупать, спросил:

– Вы ремонт хотите сделать, освобождаете пространство?

– Какой еще ремонт? В этом во всем жила, в этом и умру.

– Рано вам об этом говорить.

– Самое время.

Я глянул на нее, она усмехнулась, поняв значение взгляда.

– Нет, я не больная. То есть больная, но не смертельно. Просто – пять лет осталось или двадцать, разница небольшая, если подумать.

Я догадался, о чем она: о размере пустоты. Не бывает пустоты больше или меньше в зависимости от объема или протяженности. Два нуля равны нулю или десяти нулям.

– Наверно, вам эти книги что-то такое напоминают? – зашел я с другой стороны.

– Нечего напоминать, – сказала она. – Просто – кончился этот период.

– Какой?

– Прошедший.

– Нет, но было же что-то... Я, знаете, тоже ведь живу, можно сказать, второй жизнью. Приехал из другого города, там была семья, был дом, друзья. И однажды все кончилось. Довольно страшно, не буду в подробностях. Я все поменял, но книги оставил. Только книги. И фотографии. Вещей каких-то фамильных никогда не было, все типовое, одноразовое.

Этой доверительностью я рассчитывал вызывать ответные откровения или хотя бы обмолвки, проговорки. Но она только сказала:

– Да, это верно, сплошной шаблон везде.

– Пусть эти книги мне не только о чем-то хорошем напоминают, – сказал я, – о разном, но все-таки память.

– Как могилки?

– Может быть. Но могилки дорогих и близких.

– Ясно, – сказала она – как мне почудилось, с иронией. Будто разгадала мои замыслы насчет того, чтобы втереться ей в душу.

Мне ведь воображался перед посещением соседки такой сюжет: она, возможно, не хочет про-давать библиотеку. Это способ залучить к себе кого-нибудь и поговорить по душам. Очередной гость приходит, осматривает книги, она предлагает подумать, а пока попить чаю. Он пьет чай, завязывается беседа... А потом он объявляет, что, извините, покупать не будет, хозяйка слегка огорчается, хотя иного ответа не ждала, провожает его – и зазывает кого-то нового. Возможен эффектный финал: кто-то вдруг решает купить библиотеку! Но она передумывает – ведь тогда не будет повода пригласить нового слушателя ее жизненных историй.

Сюжет оказался другой, она всерьез хочет продать библиотеку.

Почему?

Чтобы избавиться от прошлого? Тогда нужно в первую очередь продать или выкинуть эту безликую мебель, этот дешевый хрусталь и аляповатые чайные сервизы из серванта.

Но нет, решила начать с книг.

Может, ей просто нужны деньги?

Или это такой своеобразный вид фронды по отношению ко времени, которое ей не нравится? У вас, дескать, все пущено на продажу, ничего не осталось святого, я долго держалась, а вот теперь, радуйтесь, ликуйте, сдаюсь – вчистую и безоговорочно, и пусть всем от этого будет хуже, включая меня!

Интересно – как версия.

А если спросить напрямую? Спросить откровенно – но при этом и самому быть откровенным.

Я рискнул.

– Знаете, не буду вас обманывать: не куплю я вашу библиотеку. У меня все это есть. В других изданиях, но это неважно.

– Как хотите, – сухо сказала она, будто вдруг обиделась за свои безликие и постылые книги.

– Думаю, у вас вообще ее вряд ли купит, – сказал я. – Кто читает, у них это есть, а кто не читает, тот и не будет.

– Логично.

– Если не секрет, почему вы все-таки продаете книги, да еще вот так – все сразу?

– Никаких секретов. Место занимают, я все равно не читаю уже.

– А раньше?

– Почитывала.

– Сам процесс разонравился?

– Вроде того. Я и телевизор не смотрю – вон, аж пылью весь покрылся.

Ну, пыль-то можно было и стереть, подумал я, не ради просмотра, а ради чистоты.

– Почему? – не отставал я.

– А вы смотрите?

– Иногда.

– И что показывают?

– Да... В общем-то, ничего интересного. Я больше интернет.

– А там что?

– Книги те же. Фильмы. Общаюсь.

– А, – скала она равнодушно. – Ну, кому что. Я насчет общаться живых людей предпочитаю.

Неправду говорит, подумал я. Ничто в ней не выдает желания и умения общаться с живыми людьми. И ко мне, это заметно, сразу же потеряла интерес после отказа покупать книги. Ждет, когда уйду.

Хорошо, уйду, – а она чем займется? Книг не читает, телевизор не смотрит. Ну, попьет чаю, глядя в окно. Может, займется шитьем или вязаньем? Но я почему-то был уверен, что она не за-

нимается шитьем и вязаньем, у нее вообще вряд ли имеется какое-то хобби. Была работа. Может, только она и была? Может, в этом и секрет? Кончилась работа – кончилась жизнь?

Она оставалось для меня абсолютно непонятной.

И – куда деваться от книжных сравнений, если речь о книгах? – я вспомнил об одном уникальном магазине, который давным-давно существовал в Саратове. Он назывался «Книги социалистических стран». Когда я впервые туда зашел, удивился пустоте и обилию. То есть множество книг – и ни одного покупателя. Две хорошенькие продавщицы в голубых халатиках. Все очень аккуратно, чинно и чисто, хороший запах... А на полках было ВСЁ. Все авторы, которых смели бы подчистую в другом месте. Но Ремарк – на немецком языке, Гашек и Чапек – на чешском, Станислав Лем – на польском... Были и классики всех времен и народов, но, опять же, на всех возможных языках, включая, кстати, и не социалистические.

Видит око, да ум неймет.

Вот и эта женщина была для меня словно книга на незнакомом языке. О чем-то догадываюсь, что-то чувствую – ничего не понимаю.

И я ушел, перестав задавать вопросы, запретив себе фантазировать на ее счет. Она имеет право на молчание, на тайну, какой бы маленькой, возможно, эта тайна ни была. Но это – ее последнее богатство.

Наверное, все-таки в книгах я разбираюсь лучше, чем в людях.

Сосед

Двери лифта открылись, и Холодцов увидел соседа с восьмого этажа, о котором он ничего не знал, кроме того, что это сосед с восьмого этажа.

– Здравствуйте, – сказал Холодцов и вошел в лифт.

– Здравсьте, здравсьте! – ответил сосед с какой-то странной веселой иронией.

Холодцов встал рядом с ним, лицом к дверям, потому что это естественно – вставать лицом к дверям, чтобы сразу же выйти, когда они откроются.

Таким образом, Холодцов оказался плечом к плечу с соседом и не имел возможности прямо посмотреть на него. А посмотреть хотелось: с чего вдруг тот его так поприветствовал? Ирония, улыбочка чуть ли ни ехидная – что они означают?

Холодцов попытался скосить глаза. Не получилось. Он вспомнил, что ни на кого никогда не скашивал глаз, смотрел прямо и открыто. Интересные вещи иногда узнаешь о себе, несмотря на сорок с лишним прожитых лет! Ему в голову никогда не приходило, умеет ли он скашивать глаза, то есть смотреть искоса или исподлобья – не было в этом необходимости. Но сейчас-то какая необходимость, что его встревожило?

Неожиданность встревожила.

Посудите сами: посторонний человек вдруг обращается к вам не просто по-свойски, а фамильярно, да еще с каким-то двойным смыслом, будто знает вас, как облупленного.

А сосед не может знать Холодцова, как облупленного, хоть и живет в квартире прямо над ним.

Постойте, минутку. Над ним. Разделяет только потолок. Может, он сквозь потолок (то есть для соседа это пол) услышал что-то, показавшееся ему смешным или глупым, вот он и усмехается с обывательским высокомерием человека, у которого никогда в жизни не бывает ничего смешного и глупого.

Холодцов вспомнил вчерашний вечер. Он вернулся с работы, поужинал с женой Оксаной, четырнадцатилетним сыном Платоном и восьмилетней дочерью Полиной, посмотрел телевизор, включив его на умеренную громкость. В одиннадцать лег спать. Все, как обычно, как всегда, ни-

каких поводов для усмешек и иронии. Ни застольного пения, ни музыки на полную мощь, ни скандалов, ни веселых или печальных криков – ничего не было.

Непонятно.

Тем временем лифт доехал до первого этажа. Холодцов помедлил, давая возможность соседу выйти первым.

Но тот не торопился. Словно хотел проводить Холодцова насмешливым взглядом в спину, полюбоваться, как неловко и мешковато Холодцов будет удаляться, подтверждая неуверенной походкой свою вину.

Какую еще вину, что за чушь мне мерещится? – возмутился мысленно Холодцов и шагнул вперед.

И пошел довольно ровно. Даже, пожалуй, ровнее обычного, вернее, как бы свободнее, с более энергичным покачиванием плеч, будто не на работу собрался, а прогуляться, пофланировать по улице от нечего делать.

Но тут же себя одернул: ради чего я стараюсь? – и перешел на обычный аллюр, однако выяснилось, что обычным аллюром идти стало почему-то трудно, будто Холодцов забыл, как это делается. В результате походка получилась все-таки именно мешковатой и неловкой; Холодцов не оборачивался, но был почти уверен, что сосед откровенно и издевательски скалится, наблюдая за его маневрами.

Дойдя до машины и сев в нее, Холодцов передохнул, вытер ладонью пот (с утра было уже довольно жарко) и положил руки на успокоительную округлость руля. И тронулся, и поехал. Езда всегда действовала на него благотворно, он передвигался неспешно, аккуратно, чувствуя себя дружественным хозяином автомобиля и не жадным пользователем покрываемого автомобилем пространства.

Вот и сейчас постепенно вливалось в тело состояние привычного умиротворения.

За время дороги, слушая радио и рассеянно думая о чем-то неопределенном, Холодцов забыл о пустяковом эпизоде. Но приехал на работу, вошел в лифт, чтобы подняться на свой этаж, и лифт ему опять все напомнил.

После этого отогнать навязчивые мысли было уже невозможно.

Может быть, сосед видел с балкона, как сын Холодцова Платон курит или пьет с друзьями пиво на детской площадке возле дома? Как раз в четырнадцать лет, говорят, сейчас начинаются первые опыты такого рода. Поэтому сосед и усмехался: плоховато, дескать, папаша воспитываешь отпрыска!

Или ему что-то известно о жене Холодцова Оксане? Но какие секреты могут быть у обычной преподавательницы колледжа?

А может, сосед что-то знает о работе Холодцова? Что-то тайно-нехорошее? И это позволяет ему пророчески ухмыляться: придет скоро твой час, будет тебе трендец с малиной, как любит говаривать экономист Сквориков.

Тут бы, конечно, надо рассказать, что за деятельность такая у Холодцова, в какой сфере он подвизается, что в ней тайно-нехорошего, из-за чего может грозить трендец с малиной.

Но в этом нет необходимости: любая сфера деятельности в нашем отечестве связана с чем-то тайно-нехорошим в большей или меньшей степени, следовательно, любой сфере и любому ее сотруднику теоретически грозит этот самый трендец с малиной.

Тем не менее, Холодцов неожиданно подумал: а не слишком ли он тут присиделся, привыкнув ко всему, в том числе к тайно-нехорошему, не пора ли найти что-то новое? Совсем невинное и безопасное. Он даже начал припоминать, какие есть работы, где невинность и безопасность гарантированы, в голову полезла всякая чушь, замелькали какие-то дворники с метлами, мойщики машин, фотографии при фотоавтоматах и, совсем уж неожиданно, старушки-смотрительницы в музеях, дремлющие на своих стульчиках.

Опомнись, одернул себя Холодцов. Куда тебя несет, ты совсем уже рехнулся из-за своих дурацких фантазий!

Тут навалились повседневные текущие дела, они вернули все в нормальное русло, Холодцов работал с документацией, общался с сотрудниками, звонил и принимал звонки.

А попив перед уходом кофе с симпатичной Викой, сказав ей что-то очень удачное, остроумное и получив в награду одобрительную улыбку, он окончательно пришел в себя. Ехал домой, с удовольствием прокручивая в памяти разговор с Викторией и свою замечательную шутку. Пожалуй, Вика ко мне равнодушна, думал он. Да и я к ней. Конечно, ничего между нами не будет, но, если захочется, может быть. Великая сила в этих словах – может быть!

Но, как только вошел в подъезд своего дома, а потом в проклятый лифт, опять все вспомнилось, на душе стало зябко, неуютно.

К тому же, палец машинально, будто сам собой, нажал на кнопку восьмого этажа.

Холодцов решил исправиться, нажать на седьмой, но передумал. Раз уж так получилось, ладно, доедем до конца. И посмотрим, что там.

Он вышел на восьмом этаже, осмотрел дверь, ведущую в тамбур, где была соседская квартира под номером пятьдесят один. Там еще две квартиры – пятьдесят и пятьдесят два. У Холодцова и его соседей по тамбуру общая дверь обычная, деревянная, с матовым армированным стеклом, не всегда даже закрывающаяся на замок. А тут – металлическая. Не исключено, что поставлена она по инициативе соседа. Он с виду человек основательный, крепкий, вот и дверь такую же соорудил, хотя вряд ли боится воров.

Но если не боится, почему так отгородился, защитился от внешнего мира?

К черту, к черту, хватит, сказал себе Холодцов, ты уже сходишь с ума!

И он спустился вниз, вошел в квартиру, бодро поздоровался с женой и с детьми, словно ничего особенного не произошло.

За ужином был оживлен и весел.

А потом сел в большой комнате (она же гостиная или зал, кто как называет) перед телевизором и, усаживаясь, глянул на потолок. Не нарочно. Попробуйте, проверьте, сядьте на диван, при этом движении взгляд ваш сам собой окажется где-то в месте соединения потолка со стеной.

А в углу был стояк, обычная металлическая труба. Сквозной стояк отопления, соединяющий квартиры сверху и снизу, в квартире Холодцова ненужный, у него к батарее ведет другая труба, в другом углу.

Холодцов пригляделся.

Встал, подошел.

Увидел, что между трубой и потолком небольшой, совсем крошечный зазор.

Крошечный-то он крошечный, но...

Холодцов закрыл двери, задернул шторы, выключил свет, добиваясь полной темноты.

И был если не потрясен, то очень удивлен: в зазор сверху пробивался свет!

Холодцов обошел все комнаты, в которых тоже были сквозные стояки. А комнат всего три, да еще кухня. В зале, превращая его на ночь в спальню, обитают Холодцов с женой, в двух маленьких комнатках – Полина и Платон. У Платона отдельный вход, Полина ходит к себе через родителей.

Не отвечая на вопросы жены и детей, Холодцов молча выключал свет, закрывал двери и шторы, смотрел. Везде все было заделано плотно, шелка только в зале.

Может, сосед сам ее расковырял?

Но зачем?

Как зачем? Туда, например, можно всунуть крошечный микрофон, сейчас такие существуют. Или даже видеокамеру.

Хорошо, но с какой целью? Что такого может услышать и увидеть сосед с помощью этих приспособлений?

Меж тем Оксана не могла понять, что происходит.

– Чего ты смотришь? Течет, что ли, где?

– Дырка, – показал ей Холодцов.

– Ну и что? Ей сто лет уже. Она крошечная, ничего не слышно и не видно. А кто там живет, сверху?

– Понятия не имею, – сказал Холодцов, не желая вдаваться в подробности.

Он вышел на балкон, где у него был шкафчик с инструментами и разной хозяйственной мелочью, пошарил, нет ли какой замазки или еще чего-то в этом роде.

Не оказалось.

Тогда он взял у Полины пластилин белого цвета (на самом деле сероватого), поставил на стул табурет, влез и замазал щелку.

– Так хуже стало, – сказала Оксана. – Заметно.

– Зато дыры нет.

После этого Холодцов успокоился, с легким сердцем смотрел телевизор, а потом улегся и довольно быстро заснул.

Но среди ночи вдруг проснулся.

Это и раньше бывало по обыденной причине – в туалет сходить. Но сейчас в туалет не хотелось. Проснулось от чего-то другого, тревожно щемящего. Посмотрел в потолок. Щели не заметно. Однако он все же встал, не потревожив жену (он спал всегда с краю), подошел к трубе, осмотрел. Комочек пластилина виднелся небольшой выпуклостью. Все в порядке.

И все же он долго ворочался, не мог заснуть.

Проснулся разбитым, вялым, хмуро отправился на работу.

Да, сейчас щели нет, не просунешь ни камеру, ни микрофон, а – раньше? Настоящее замазано, но прошлое осталось!

Ну и что, ничего такого в прошлом не было, у тебя психоз, сказал себе мысленно Холодцов. Ты понимаешь, что это психоз?

Да.

Тогда прекрати думать об этом!

Хорошо.

И продолжал думать.

Ладно. Если уж так, если нет воли над своими мыслями, лучше их отпустить – чтобы их абсурдность и нелепость стала самоочевидной.

И Холодцов отпустил.

К примеру, сосед подсматрел, как они с Оксаной занимаются супружескими нежностями, занимаются осторожно, чтобы не разбудить Полину. Это со стороны может показаться смешным. Ну и что? Ничего.

Или он видел, как Холодцов, оставаясь в комнате один, почесывается в разных местах. Опять-таки – ну и что? Кто не почесывается, будучи наедине с собой?

А может, у соседа извращенные фантазии? Увидел, например, как Полина прыгает в постель к родителям в позднее воскресное утро, когда они отсыпаются и долго не встают, возится там, дурачится, иногда в это время Оксана встает и уходит, а Холодцов остается с Полиной, продолжая дурачиться и родительски обжиматься – вот и простор для инсинуаций. Но это его дурь, соседа, это над ним нужно посмеиваться, а правильное без всякого смеха строго потребовать, чтобы он прекратил заниматься вуайеризмом и думать своей больной головой неизвестно что!

А может, сосед стал свидетелем того странного свидания с бывшей одноклассницей Соней, которое случилось лет, кажется, двенадцать назад, когда Оксана уехала с маленьким Платоном в оздоровительный пансионат, а Холодцов как-то вечером, выпив пару бутылок пива, захотел поболтать с кем-нибудь по телефону. Соня была третьей или четвертой собеседницей, очень обрадовалась, напомнила Холодцову, что у них была легкая взаимная влюбленность, спросила, как и что, рассказала о своем коротком неудачном замужестве, а потом, узнав, что Холодцов слегка выпивает в одиночестве, пожелала присоединиться. Приехала с бутылкой коньяку, они начали вспоминать о школьном беззаботном времени, поделилась сведениями об одноклассниках, а потом как-то само собой получилось, что начали целоваться. Охмелевшие и растроганные молодой мужчина и молодая женщина, понятное дело. Целовались, лежа на диване, Соня призналась, что всегда любила Холодцова, ему было приятно, но не более того. Он понимал, чего ей хочется, но

сам не вспыхнул, его уже клонило в сон, он посматривал на часы. И неожиданно начал сетовать на семейную жизнь, жаловаться на Оксану, не понимающую его духовных запросов, рассказывал про нее нелепые вещи, вдохновенно клеветал, не чувствуя стыда – может, потому, что говорил не об Оксане, а о какой-то другой, придуманной женщине, образцово грубоватой, туповатой и приземленной. Но Соня принимала все за чистую монету, слушала с сочувствием. А сочувствовать мужчине, как понял Холодцов, для женщины иногда важнее, чем с ним переспать. И это было ему на руку. Он достал из холодильника бутылку водки, продолжил выпивать, Соня отказалась, но его не отговаривала: у человека беда, ему плохо. Это позволило Холодцову оправданно напиться, сознания осталось ровно настолько, чтобы сказать: «Прости, я не в форме. Лучше тебе уйти». Соня говорила, что не может оставить его в таком отчаянном состоянии, но он отвергал ее помощь: «Спасибо, не надо, я справлюсь сам. Мне надо все обдумать. А потом мы встретимся – и...» После «и» он сделал многозначительную паузу. Соне была нужна надежда, она ее получила. И ушла. Потом звонила по пять раз на дню, тревожно расспрашивала, как он там, Холодцов успокаивал: «Все в норме, но сейчас мне лучше побыть одному». Соня пугала, что одиночество чревато последствиями, порывалась приехать. Холодцов отнекивался.

Потом были еще звонки, разговоры, а потом все, слава богу, сошло на нет, последние три-четыре года Холодцов не имеет о Соне никаких известий и, если честно, не желает их иметь.

Может, как раз этот случай имел в виду сосед, когда иронически усмехался?

Но не поздно ли, через столько лет?

А что еще было за эти годы?

Холодцов вспоминал и ничего особенного не вспомнил, разве что некоторые скромно постыдные мелочи, бывающие в жизни каждого человека, о которых, однако, он не распространяется и не желает, чтобы о них знали другие.

Позвольте, но ведь сосед появился в доме совсем недавно! Года два назад. Или год. Или пол-года даже. Есть, возможно, семья, но видел его Холодцов только одного и очень редко. А ведь обращает на себя внимание: полный, даже очень полный, проще говоря, толстый. Тучный есть еще слово, ему подходит. И джип, на котором он ездит, тоже тучный. Одевается в дорогое и чистое. Пахнет одеколоном... Что еще? Больше ничего неизвестно.

Обдумывая это, Холодцов работал – почти автоматически, дела были привычными, рутинными.

И тут возникла идея. Не откладывая, он пошел к Боре Суянскому, компьютерщику, постоянно угощавшему всех в курилке анекдотами и занятыми историями из интернета. Холодцов спросил, можно ли найти человека по адресу?

– В нашей стране все можно, – ответил Суянский. – Слушай анекдот: только в нашей стране на вопрос «Чем занят?» можно услышать ответ: «Да ничем, работаю!»

Он расхохотался:

– Прямо обо мне! Или еще по той же теме. «Только в нашей стране, поехав по встречной полосе, можно получить удар в зад!» А вот еще: «в нашей стране новый герб – амур. Почему? Раздет, разут и вооружен до зубов!»

Холодцов поморщился. Он не любил анекдотов. Не терпел самоуничижительного юмора. Он, не будучи сам махровым патриотом, не выносил глумливого антипатриотизма. Пожалуй, если заглянуть в глубь, Холодцов просто-напросто любил Родину.

Конечно, он не стал ничего этого говорить Суянскому. Назвал адрес соседа, и Боря с удивительной быстротой нашел.

– Егоров Сергей Викторович. Паспортные данные надо?

– Нет.

– А то могу. Так, что тут у нас? Женат вторым браком, маленький сын (Холодцов смутно припомнил сразу несколько женщин с детьми, проживающих в доме), работает главным специалистом в ЗАО «Коринф».

– Это что?

– А тут не поймешь. Широкий перечень консультационных и посреднических услуг. Деньги из воздуха делают, скорее всего. А зачем тебе это?

– Да так. Спасибо.

Холодцов и сам не знал, зачем ему эти сведения. Он ведь и так предполагал, что будет что-то рядовое, обычное, никаких спецслужб и органов.

И фамилия обыкновенная. Это даже как-то обижало. Это делало наблюдателя-соседа безликим, будто не он один, а десятки тысяч Егоровых смотрят на жизнь Холодцова со снисходительным любопытством.

Было бы интереснее, оригинальнее, загадочнее, если бы сосед носил такую, например, фамилию, как руководитель одного из мелких периферийных подразделений. Он присылает ежемесячные отчеты, подписываясь: «Генеральный директор Колпазовского филиала Д.Е. Зембле». Холодцов даже не знает, мужчина это или женщина. Сотрудники – и первый, конечно, Боря Суянский, приметили эту фамилию и частенько, проходя мимо стола Холодцова, спрашивают:

– Как жизнь? Зембля пишет?

Скучная офисная шутка, которая хороша только тем, что не меняется годами.

Не поняв, чего он добился, узнав, что Егоров это Егоров, Холодцов пребывал в состоянии подавленном и унылом. Понимал, что это глупо, но ничего не мог с собой поделать. Ворошил бумаги, просматривал файлы в компьютере, а в голове крутились нелепости:

– может, Холодцов, пропуская через себя в числе прочих финансовые документы, способствовал крупному хищению, не зная об этом, а в этом самом «Коринфе» знают, следовательно, знает и Егоров?

– может, «Коринф» и осуществил это хищение, но умело, хитроумно, следов не найдешь, а Егоров не удержался, выразил-таки свое самодовольное злорадство?

– может, Холодцова спутали с каким-то другим Холодцовым, тоже ведь фамилия не бог весть какая уникальная, а на другом Холодцове висит что-то страшное или позорное?

Неизвестность томила.

Угнетало ожидание чего-то неведомого.

Наверное, подумал исторически грамотный Холодцов, так чувствовали себя люди в годы репрессий – те, кто мог себя в чем-то заподозрить. Не спали, прислушивались к ночным звукам, фантазировали, сходили с ума, некоторые, он читал в какой-то книге, не выдержав, кончали с собой – стрелялись или выпрыгивали из окна.

Автор, помнится, недоумевал: почему не уезжали, почему не спасали себя? Наивный! Куда убежишь? Тут семья, квартира, работа, друзья, привычки, да всё!

А некоторые, писал тот же автор, сами шли по известным адресам, напрашивались на прием и требовали предъявить обвинение, если есть, за что, а если не за что, дать гарантию покоя. Естественно, им ничего не предъявляли, но и никаких гарантий не давали.

Холодцов стал угрюм, замкнут, домашние чувствовали, что с ним творится неладное, но не приставали, зная, что он свои настроения привык переживать в себе.

На работе тоже все шло наперекосяк. Холодцов стал всматриваться и вчитываться в отчеты, договора, сводки и прочие документы. Он, будучи небольшим начальником, руководителем группы из трех человек, имел право подписи. Раньше подмахивал не глядя, то есть глядя, но не видя ничего нового. Сейчас же за каждой строчкой чудились махинации, подлог, жульничество. И, в общем-то, некоторые доли жульничества и подлога действительно были, но минимальные, в рамках допустимого, как у всех, и даже, пожалуй, лучше, чем у многих: руководители Холодцова были люди осторожные, предпочитающие действовать так, чтобы не обращать на себя внимание. Холодцов стал подчеркивать сомнительные строки красным маркером и класть листы с пометками на стол начальства. Начальство вызывало его, задавало вопросы. Холодцов отвечал, указывая на то, что начальство и без него видело. Оно сердилось, но не гневно, в рабочем порядке, а однажды участливо спросило, не пора ли Холодцову в отпуск?

Учитывая, что предыдущий отпуск был весной, это выглядело предупреждением, за которым могло последовать увольнение.

И Холодцов взял отпуск.

Никуда не поехал, сидел дома, смотрел телевизор или играл в компьютерные игры.

Однажды, лежа ночью без сна с открытыми глазами, он понял: нужно что-то сделать.

Но что?

Как что? Пойти к соседу и поговорить с ним! Именно! Давно это надо было сделать!

И Холодцов начал готовиться к походу на соседа, то есть представлять разные варианты.

Не надо размазывать, сразу в лоб:

«Что вы имели в виду, господин Егоров, когда...»

Нет.

Это звучит одновременно и напыщенно и беспомощно: «господин Егоров».

«Что вы имели в виду, Сергей Викторович...»

Нет. Почему по имени-отчеству, они ведь не знакомы, тот удивится, пустится в ненужные расспросы.

Проще:

«Здравствуйте. Что вы имели в виду...»

Нет. Дурацкая формулировка: «что вы имели в виду».

Надо в духе времени, твердо и категорично:

«Я требую оставить меня в покое!»

А вдруг окажется, что Егоров за ним не наблюдал и вообще вспоминает о его существовании только тогда, когда случайно с ним встречается?

Этот вариант возможен?

Возможен.

А почему бы, не приходя к Егорову, принять эту версию как единственно верную? Ведь кроме подозрений, у Холодцова ничего нет. И ничего не случилось в его жизни за все время с той встречи в лифте, что эти подозрения подтвердило бы.

Так он себя уговаривал, но понимал, что одним самоубеждением не обойдется, визит к Егорову неизбежен.

В каком-то смысле даже неважно, что он узнает. Не наблюдает за ним сосед – и ладно. Наблюдает – и черт с ним.

То есть, конечно, лучше все-таки выяснить, зачем наблюдает.

Через несколько дней Холодцов почувствовал, что готов.

Вечером после ужина, настроив себя на спокойствие и мужество, он вышел, сказав жене, что хочет немного размяться, пройтись по парку, поднялся на восьмой этаж, нажал на звонок квартиры Егорова.

Тишина и молчание.

Нажал еще раз.

Спустился вниз, вышел из дома, увидел, что машины Егорова нет.

Отправился в парк гулять.

Через час вернулся к дому – машины не было.

Не было и на другой день, и на третий.

Холодцов чувствовал, что теряет приготовленное спокойствие. Стоя на балконе, он представлял, как увидит подъезжающего Егорова, и понимал, что, пожалуй, не выдержит, бросится вниз, встретит соседа, выходящего из машины, и закричит что-то истерическое, непотребное, постыдное...

Но Егоров все не появлялся.

В воскресенье, когда все были дома, Оксана затеяла готовить голубцы, попросила Холодцова сходить за капустой.

Он пошел.

И столкнулся в двери подъезда с Егоровым.

Тот посторонился, чтобы пропустить Холодцова.

Вежливый, сволочь!

Эта вежливость разом всколыхнула в Холодцове все, что накопилось, и он, глядя в глаза ненавистному соседу, выдавил сквозь зубы:

– Ну? Может, скажешь, чего тебе надо? А?

Тот удивился, коротко рассмеялся – как человек, которого неожиданности не столько пугают, сколько веселят возможностью интересного приключения, и тряхнул головой, будто отгонял что-то невидимое:

– Не понял?

– Забыл уже? Три месяца назад, лифт, твое это: «здрасьте, здрасьте!» С какой стати? Я вам кто? Что ты обо мне знаешь? Что тебе нужно? Кто ты такой? – выкрикивал Холодцов.

– Стоп, стоп, стоп! – выставил сосед ладонь. – Извини, конечно, мужик, но или ты выпил, или с кем-то меня путаешь!

– Я вас ни с кем не путаю, Сергей Викторович, – язвительно сказал Холодцов, чувствуя, что овладевает собой и готов к любому повороту вплоть до рукопашной схватки.

А мужчина вдруг расхохотался.

Просто до слез.

Утирая глаза, сказал:

– Извините. Но я вообще-то Владислав. Петрович.

– Ага. И живете не здесь, – поддакнул Холодцов с интонацией следователя, который насквозь видит запирающегося преступника.

– Не здесь, – подтвердил мужчина.

– В гости приезжаете? К кому?

– Ну, это уж мое дело!

Тут Холодцова будто ударило.

Так врать нельзя, невозможно, этот человек говорит правду!

Но позвольте, а кто был тогда в лифте?

– Значит, – растерянно выговорил он, – это я не с вами тогда в лифте встретился?

– Когда? И что было-то?

– Нет, ничего, извините. Я, в самом деле, ошибся. Обознался.

– Бывает, – легко простил его мужчина.

И прошел в подъезд.

Холодцов начал лихорадочно вспоминать и анализировать.

Да, он видел этого человека неоднократно. Приезжающим и уезжающим. Но с чего он взял, что тот живет над ним?

А с того, ответил он сам себе, что однажды, вынося пакет с мусором в мусоропровод, находящийся между седьмым и восьмым этажами, увидел этого мужчину выходящим из металлической двери. В пятидесятой живет старушка с дочерью и внучкой, Холодцов знает это, так как однажды наткнулся на них возле подъезда, они стояли у машины, с которой грузчики таскивали холодильник, и старушка говорила: «В пятидесятую, на восьмой этаж!» И это запомнилось. В пятьдесят второй какая-то женщина, это ему известно от жены, которая однажды сказала: «Оказывается, у нас тут парикмахерская на дому, в пятьдесят второй женщина соседней обслуживает. Сходить, что ли, попробовать?» Но так и не сходила, привыкла к своему салону «Мечта», куда навещается раз в месяц, неизменно при этом оставаясь недовольной, охаявая тамошних мастериц и говоря, что больше туда ни ногой. Но почему-то через месяц опять шла в свою «Мечту».

Вот он и решил тогда, у мусоропровода: поскольку в пятидесятой выводок разновозрастных женщин, а в пятьдесят второй парикмахерша, мужчина – из пятьдесят первой. А на самом деле он вообще не отсюда, он только приезжает! И не в пятьдесят первую, а к той же парикмахерше, например!

Но кто в пятьдесят первой тогда? Ведь Суянский нашел по базам какого-то Егорова Сергея Викторовича!

Холодцов еле дождался понедельника, приехал на работу на час раньше, караулил Суянского, упрямился того опять залезть в базы, посмотреть информацию – внимательно, ничего не упуская. Тот посмотрел.

– Думаешь, что-то поменялось? Нет. Егоров Сергей Викторович. С женой и ребенком.

– А фотографию можешь найти?

Суянский покопался.

– Вот. Водительские права.

Холодцов посмотрел. Да, он видел этого мужчину лет сорока, со скучным неприметным лицом. Ездит на подержанном «Фольксвагене». Кажется, около машины как-то стояли женщина с мальчиком. Но Холодцов, естественно, понятия не имел, из какой они квартиры.

Теперь знает.

И что?

Ведь встретился он в лифте с тучным мужчиной, тот не помнит или не хочет признаваться, но Холодцов ошибиться не может, такая комплекция запоминается.

Еще интересней! – не живущий в их доме человек ехидно с ним здороваётся и на что-то как бы намекает!

Но, может, и не ехидно, и без намека, может, Холодцову так показалось?

Представим: мужчина утром уходит от женщины. Услаженный, довольный, все ему кажется прекрасным. Открываются двери лифта, незнакомец здоровается, что у нас не так уж обычно, хочется ответить ему улыбкой и тоже поздороваться. И он улыбнулся и сказал свое «здрасьте-здрасьте» вполне приветливо, а если и была долька иронии, то она понятна, это чувство бывало и у Холодцова в молодости, когда он ходил, наполненный любовью к Оксане, счастливой и взаимной, радовался миру, но и слегка его жалел за то, что он не так счастлив, в его тогдашнем общении с миром тоже был оттенок ласковой иронии: эх, дескать, мир, живешь себе и не знаешь, как ты прекрасен!

Ну вот, и это прояснилось.

Все прояснилось.

У Холодцова будто тяжкий груз свалился с души, он стал счастлив почти так же, как в пору начальной любви с Оксаной. Работа ладилась, за день он переворачивал недельную кучу документов.

Он ехал домой веселый, обдумывая, что он такое скажет детям и жене, чтобы они поняли: он вернулся, он исцелился, стал таким, как раньше.

Господи, и ведь из-за чего? Из-за мимолетной встречи в лифте, из-за дурацкой щели возле трубы!

А там, наверху, всего лишь молодая семья, которой нет дела до Холодцова и его мнительной тревожности.

Хотя – как знать, подумал он. Мне ведь ничего о них неизвестно. Да, обычная семья, ребенок, но кто он, этот Егоров? Почему он не может наблюдать за Холодцовым? Вполне может.

Но зачем?

Что ему нужно, черт бы его побрал?

Нет, Холодцов не впал в уныние от этих новых мыслей. Наоборот, он почувствовал себя сильным и уверенным, руки крепко сжали руль. Теперь он учтет все ошибки, он все разузнает скрупулезно и неторопливо, он придет к Егорову с фактами в руках, тому неуда будет деваться, разговор пойдет начистоту, и Холодцов наконец поймет, зачем этому негодяю понадобилось все о нем знать.

Катя КАПОВИЧ

Не дай мне, Боже, знать слова другие,
а эти, пусть постылые, глухие,
твержу в ночи, как дятел монотонный,
веди меня опять дорогой темной,
пуста душа, в кармане документы,
бумажные смешные президенты
на деньгах, как на фантиках конфетных.
А из живых мне жалко только смертных.

Крутись, о, милый калейдоскоп,
вновь перетряхивай сор стекла,
печали наши, обиды, скорбь
исправят Брюстера зеркала.

За эту оптику, эту ложь
тебя люблю я с давнишних пор –
не потому что узор хорош,
затем что неповторим узор.

Вот так поэт, пока спит и ест,
и сам не знает, какой мотив
от перемены случайных звезд
однажды сложится, смерть убив.

Застегни куртку.
Вот тебе на бутерброд,
Приходи не поздно.
Вот тебе перевод.
Сто на день рожденья.
На ерунду не трать.

Катя Капович родилась в Молдавии, училась на Урале, первую книгу стихов издала в Израиле, в Америке живет с 1992 года. Стихи публиковались в журналах «Воздух», «Арион», «Знамя», «Новый мир», «Звезда» и др. В 2001 году за сборник английских стихов «Gogol in Rome» удостоена премии Библиотеки Конгресса США. Лауреат Русской премии 2013 года в номинации «малая проза», живет в Кембридже, работает редактором англоязычного журнала Fulcrum, преподает литературу и ведет мастер-классы.

Перестань текстовать.
Это портит зрение.
Когда соберешься,
привози с собой все,
постираем, заштопаем.
Не забудь ничего.

Уроки балета

Между Дега и Тулузом-Лотреком,
между шаром и летающим шаром,
между серебряным веком и грубым,
между шпагатом и полушпагатом.

Между пуантом и пробным «апломбом»,
также меж циркулем и полукругом,
будто не прыгает жизнь по ухабам
а мотыльком крылышкует по клумбам –

в тапочках розовых, в платье балетном
тихо взлетает дитя над паркетом
в мире пустом, никаком, беспредметном
вся освещенная светом, о, светом.

Весело и дешево, приходили гости, скручивали косяки,
спрашивали «где тут можно бросить кости» мертвяки.

По утрам бутылки с зелеными глазами мерзнут на столе,
я люблю вас милых с мутными глазами, в майках до колен.

Вы опять гуляете, из кухни свет полоской узенькой течет,
я уж прикусила русский, малоросский свой. На этот счет...

ничего плохого нету в том, что больше вас, смешной поэт,
я люблю злой сумрак на сырой ладошке и вот этот свет.

Серым утром в деревьях – лед,
одиноким фонарь блестит,
и под ним, раскрывая зонт,
кто-то маленький вслух грустит.
Сам с собой говорит слегка,
с бледных глаз утирает грим –
не хватало здесь чудака,

что ты шепчешь, печальный мим?
Уже кончился снег ли, дождь,
уже можно и зонт сложить,
жизнь прекрасна, хоть это ложь,
боль обманна, хоть это жизнь.
А другое ты все сказал,
как бездомный какой-то Бог.
Я смотрю: а там лишь фонарь
и моих лишь следов кружок.

Люди делятся на ежей и лис,
так сказал Исайя Берлин:
у ежа одна, но большая мысль,
и смеется лиса над ним.

Много гитик знает лиса-сестра,
их, что листьев в глухом бору...
А он ходит в тумане, листвою шурша,
будто счастье в тумане, друг.

Очарованный долго глядит на снег,
ах, его он застал врасплох,
и тогда поднимает колючий мех –
там один лишь листок. Листок.

Под председательством труб золотых,
прочих в тот день духовых
я отменила на службу визит,
взяв к тахана-мерказит.

Был мой автобус с разбитым стеклом,
шел он на Иерихон,
рядом – монах со своим стихарем
и три старухи с мешком.

Между окошек метался сквозняк,
заполдень город возник,
вышли старухи и вышел монах,
и я прошла мимо них.

И подходил ко мне белый мулла
и говорил мне «алла»,
четки какие-то в руки совал,
денег нечистых не брал.

В лавке одной прикупила еды,
вышла и села у стен
и все смотрела на эти дворы,
даже не знаю зачем.

И все смотрела, и вдруг поняла
сердце пронзила игла –
что никогда, никогда, никогда
счастлива так не была.

Свет над домами стоял неземной,
белую пыль золотил,
в каждой крупине пыли земной
кто-то вставал из могил.

И постепенно их был уже ряд,
и в нем была моя тень.
Но подожди, снова трубы трубят:
шапку-бейсболку надень.

Встань и иди, отряхнувши штаны,
мир уже будет иным,
жалости больше и больше вины
будет у сердца к живым.

Анаит ГРИГОРЯН

МАРФА И НЕЧИСТАЯ СИЛА

*Вспомнишь про старое-то время, так и загрустешь:
настоящая полная жизнь была при леших-то...*

А.Е. Бурцев, этнограф

Г.

Дитя у Марфы на руках плачет, не унимается
Слышишь, мама, кот в сениях ходит
Кот в сениях ходит, копытами стучит
На коте шапка красная
Красным поясом кот перепоясанный
По мою душу кот пришёл
Успокойся, дитятко
У кота лапы мягкие
Нет копыт на них
У кота шёрстка серая
Нет у кота красной шапки
Не перепоясан он красным поясом
Слышишь, мама, кот через порог прыгнул
Жёлтым злые глаза горят
Зубы у кота острые
По мою душу кот пришёл
Успокойся, дитятко
У кота глаза не страшные
Лунный свет в них отражается
У кота зубы острые
Для мышей и крыс, что в подполе возятся
Видишь, мама, кот мне грудь сдвигал
Ой, больно мне, не вдохнуть – не выдохнуть
Плачет дитя, не унимается
Успокойся, дитятко
Кот на печке лежит, греется
Хвостиком пушистым укрывается
Видишь, мама, кот мне шею рвёт
Жёлтыми глазами мне в глаза уставился

Анаит Григорян родилась в 1983 г. в Ленинграде. Окончила биолого-почвенный факультет СПбГУ. Кандидат биологических наук. В 2011 г. издательством «Геликон Плюс» был издан дебютный сборник коротких историй «Механическая кошка», в 2012 г. в издательстве «Айлурос» вышел роман «Из глины и песка». Живёт и работает в Санкт-Петербурге.

Ой, больно мне, спаси меня
Качает Марфа на руках дитя, баюкает
Вот уж и затихло дитя
Крепко спит

2.

Шишимора пришла к Марфе за полночь
Говорит, отдай мне свой левый глаз
Жениха тебе приведу
Статного, красивого
Марфа ей отдала левый глаз
Шишимора зашипела, засвистела
Поленом в Марфу бросила
И сгнула
Сидит Марфа на пороге
Слёзы из оставшегося глаза катятся
К шишке на лбу медный пятак прижимает
Жениха ждёт
Как полночь – снова к ней шишимора
Отдай, – говорит, – мне свой правый глаз
Жениха тебе приведу
Доброго, справного
Марфа ей правый глаз отдала
Плюнула в неё шишимора
Косу Марфе выдрала
Пустым ведром в Марфу бросила
И сгнула
Сидит Марфа на пороге
Слёзы из слепых глаз не катятся
К шишкам на лбу медные пятаки прижимает
Жениха ждёт

3.

Марфа в баню одна пришла
Слышит, кто-то в бане хвощется, плещется
Марфа-Матрёшка, ты ли идёшь?
Молчит Марфа, будто язык отнялся
Заходи, с нами помоешься
Входит Марфа, с головы до пят дрожит
Мы тебя попарим, Марфушка
Мы тебя поправим, Марфушка
Раздевают Марфу догола
Что-то слишком ты белая, Марфушка
Намывают Марфу дочиста
Что-то не видно копыт твоих, Марфушка
Косу Марфе расплетают

Что-то волосы у тебя больно мягкие, Марфушка
Или шкуру сменила на зиму?
Ничего, скоро станешь прежнею
Как тебя обвенчаем с суженым
Уж заждался он тебя, бедненький
Шерсть с хвоста почти вся повылезла
День и ночь стонет за каменкой
Одевают Марфу в платье подвенечное
Хлещут Марфу бузиным венком
Стоит Марфа, слёзы по щекам катятся

4.
Явился раз к Марфе молодец
Статный молодец в кафтане шёлковом
Ровно в полдень пришёл молодец
Выходи, говорит, за меня, Марфушка
Марфа глянула: обе руки у него – левые
Обе ноги у него – левые
Глаза у молодца огнём горят
Отшатнулась Марфа, – и пропал молодец
Будто не было
В другой полдень опять является
Возьми, Марфушка, от меня подарочек
Возьми от меня обруч серебряный
Будут парни на тебя заглядываться
Будут девки тебе завидовать
Как пойдёт тебе мой подарочек
Испугалась Марфа, – спаси, Господи!
И пропал в тот же миг молодец
Будто не было
В третий полдень опять является
Возьми, Марфушка, от меня подарочек
Бусы возьми от меня жемчужные
Будут парни на тебя заглядываться
Будут девки тебе завидовать
Как пойдёт тебе мой подарочек
Обмерла от страха Марфа, сотворила крестное знаменье
И пропал в тот же миг молодец
Будто не было
Только в полночь опять является
Возьми, Марфушка, от меня подарочек
Перстенёк возьми от меня золотой с изумрудами
Будут парни на тебя заглядываться
Будут девки тебе завидовать
Как пойдёт тебе мой подарочек
Загляделась Марфа на подарочек
Залюбовалась золотом с изумрудами

И взяла перстенёк у молодца, на пальчик примерила
Засмеялся молодец – змеем огненным перекинулся
И пропал – будто не было
Плачет Марфа, слезами обливается
Не жалко ей, что парни не будут заглядываться
Не жалко ей, что девки не будут завидовать
Не жалко ей перстенька с изумрудами
Жалко Марфе своего пальчика

5.
Живёт Марфа одна-одинёшенька
Коса Марфа, не красавица
Пришла Марфа к тёмному омуту
Так и так не жизнь: ни мужа, ни ребёночка
Не топиться ли ты надумала, Марфушка?
Смотрит Марфа: старичок стоит маленький
Волоса до самых пят зелёные
Борода, как бодяга, свалывшаяся
Будь здоров, водяной дедушка
Так и так мне не жизнь: ни мужа, ни ребёночка
Лучше брошусь в омут я
Лучше буду тебе прислуживать
Полон дом у меня прислужников
Сыновья все с русалками венчаны...
Вот, возьми-ка корягу замшелую
Снеси в дом, искупай, как ребёночка
Покачай на руках, к груди прижми
Спеленай коряжку, как следует
Положи в зыбку до полночи
Поклонилась Марфа водяному дедушке
Со всех ног домой бросилась,
Прижимая к груди корягу замшелую
Дома выкупала её, как следует
Спеленала, как будто ребёночка
Уложила в зыбку вечером
Долго песни пела ей, убаюкивала
И уснула сама до полночи
Не ходи больше, мама, к омуту
Пожалел уже навпа о подарочке

6.
Как туман за околицей стелется
Не ходи за околицу, Марфушка
А пойдёшь – не пляши, не пой
Не води хороводов с подружками
У подружек руки холодные

У подружек волосы белые
Лунный свет вместо глаз человеческих
Не подружки они тебе, Марфушка
Как туман за околицей стелется
Нарядись во всё белое, чистое
Как невеста нарядись, Марфушка
Выходи к нам за околицу
Погулять со своими подружками
Песни петь, хоровод водить
До утра со своими подружками

7.
Шла Марфа лесной тропиной
Куда идёшь, Марфушка?
По грибы, по ягоды
А лапоток-то левый где оставила?
Ох, и правда, босая иду
А возьми-ка мой, впору ли?
Через день сняли Марфу с высокого дерева
Шла Марфа лесной тропиной
Куда идёшь, Марфушка?
Заблудилась я
Так ступай, куда укажу тебе
Через три дня Марфу из оврага вытащили
Шла Марфа лесной тропиной
Куда идёшь, Марфушка?
Так, гуляю по лесу
А зайди ко мне, выпей чаю с пряником

8.
Черна ночь, будто кошка чёрная
А на небе – ни одной звёздочки
А на небе – не видно месяца
Просит пить, плачет в зыбке ребёночек
Не ходи, мама, к колодцу по воду
Набери лучше в ковш дождевой воды
Не ходи, мама, через двор с ведром
Принеси лучше кваса из погреба
Нет дождя, небо чистое, дитятко
Нет и кваса у нас в погребе
Я пойду до колодца тихонечко
Осторожно пойду через двор с ведром
Принесу тебе водички на донышке
Марфа, Марфа, душно нам
Марфа, Марфа, скучно нам
Ты спусти нам ведро на верёвочке

Мы за край руками ухватимся
 По верёвочке вверх поднимемся
 Загляни к нам в колодец, Марфушка
 Черна ночь, как собака чёрная
 А на небе – не видно месяца
 А на небе – ни одной звёздочки
 Хочет пить, плачет в зыбке ребёночек

9.
 Все подруги у Марфы замужем
 Одна Марфа среди них незамужняя
 Пошла Марфа к лесному озеру
 Посидеть у воды на камушке
 Погрустить о своём несчастье
 Видит Марфа: идёт статный молодец
 Стадо раков гонит вдоль берега
 Хороши ли раки, Марфушка?
 Хороши, лучше и некуда
 А сочтёшь ли мне раков, Марфушка?
 Ровно сто и ещё один
 В другой день пошла Марфа к озеру
 Поглядеть в водное зеркало
 Попечалиться о своей участи
 Видит Марфа: снова молодец
 Гонит стадо лягушек вдоль берега
 Хороши ли лягушки, Марфушка?
 Хороши, глаз не отвести
 А сочтёшь мне лягушек, Марфушка?
 Ровно двести и ещё одна
 Скоро будет, Марфа, добрый жених тебе
 Статен и лицом красив
 Он богат, лошадей у него
 Ровно сто и один жеребёночек
 И коров стадо немаленькое
 Ровно двести, да ещё телёночек
 В третий день пошла Марфа к озеру
 Видит: снова идёт тот же молодец
 Стадо змей гонит вдоль берега
 Хороши ли змеи, Марфушка?
 А страшны – век не глядела бы!
 Только плюнул и сгинул молодец

10.
 Не спит Марфа, плачет в зыбке ребёночек
 Мама, мама, вышел змей из подпола
 Гадюка из запечья выползла

У гадюки – голова петушина
Гребень петушиный, кровью налитый
Не тревожься, спи, дитяtko
Гадюка в лесу в гнилом пне сидит
У неё голова змеиная
Гадюка в лесу по сухому мху ползёт
Нет у змея гребня петушиного
Мама, мама, не по мху гадюка ползёт – по полу
Не в гнилом пне сидит – в спаленке
Мама, мама, змей ко мне подбирается
Молоко с моих губ хочет слизывать
Хочет душу из меня вытянуть
Взяла Марфа в поставце миску битую
Налила сливок на донышко
Под зыбкой оставила
Не тревожься, спи, дитяtko
Сливки змей попьёт и насытится
Не захочет молоко с твоих губ слизывать
Не захочет душу из тебя вытянуть
Марфа спит, спит в зыбке ребёночек
По сухому мху змей в лесу ползёт
В гнилом пне змей в лесу сидит
В пустой миске лежит золотая денежка

МЕДЛЕННЫЙ СВИНГ

Рассказ

It Don't Mean A Thing, If It Ain't Got That Swing.

Ирвинг Миллс, Дюк Эллингтон

Откуда-то сверху, с потолка, в квартиру прокрадывается женский шепот – напряженно-злое шипение, которому вторят приглушенные всхлипы неубедительных мужских оправданий. Слов не разобрать, голосовые партии сливаются в зловеющий перебивчивый шелест, словно два привидения исполняют чуждый земному уху вокальный дуэт; но постепенно звуки становятся ближе, отчетливее, и питающая их энергия прорывает границы ночных межсоседских приличий. Женщина, снова и снова задыхаясь от сознания собственного несчастья, долго модулирует в пределах одной октавы, а потом выкрикивает на высокой ноте очередное проклятие в адрес своего погубителя. Получается что-то вроде приторможенного рэпа, неожиданно взрывающегося экстазом вагнеровского речитатива. Мужчина в ответ раздражается короткими всплесками басовых ариозо, но ни одного из них ему не удастся довести до каденции.

Сергей судорожно вздрагивает; поморщившись, хватается мобильный: кошмарная рань, полпятого – и, когда традиционный предутренний концерт завершается под бой мебели и звон тарелок, снова проваливается в тревожный сон.

Вскоре он просыпается от бьющего в глаза солнечного света. Поворачивается набок: Лены почему-то нет рядом, даже одеяло и подушка ее отсутствуют. Сергей спускает ноги с кровати, встает, и тут же теряет баланс, падает на пол, успевая уцепиться за край кровати. Происходит что-то невозможное: комната плавно раскачивается из стороны в сторону, как гигантский маятник. Держась за кровать, Сергей подползает к двери, выглядывает в прихожую в надежде застать хотя бы там клочок устойчивой поверхности. Напрасно; судя по всему, эта равномерная качка разгулялась по всей квартире.

Через некоторое время Сергею удастся примериться к ритму колебаний. Широко расставив ноги и придерживаясь за стены, он с трудом пробирается на кухню. Лена, как ни в чем не бывало, стоит у плиты и неспешно, в такт движениям пола поводит корпусом, словно впадшая в транс балерина.

– Что это? – хрипло спрашивает Сергей. – Нас действительно качает или это... гм, субъективное ощущение?

– Конечно, качает, – с улыбкой оборачивается Лена. – А что тебя смущает?

– Странно как-то. Неудобно...

– Немного штормит. Бывает, надо привыкать.

Василий Шевцов родился в 1975 году в г. Кулебаки Нижегородской области. Окончил филфак Нижегородского государственного университета и магистратуру ВГИКа (сценарное отделение). В настоящее время аспирант ВГИКа. Проза публиковалась в интернет-альманахе «Топос», журналах «Октябрь», «Сибирские огни». В «Волге» публиковался рассказ «Ванна» (2012, №3–4). Живет в Москве.

– И надолго это, как думаешь? – окончательно теряется Сергей.

– Не знаю. Можем переждать, если у тебя это такой дискомфорт вызывает. – Лена указывает на матрас, который по непонятной причине расстелен посреди кухни. – Ложись, ложись. Давай, иди ко мне.

Лена протягивает Сергею руку и бухается вместе с ним на тесный матрас. Чтобы удержаться на нем, они прижимаются друг к другу, все плотнее и плотнее. Сергей чувствует, как растет его возбуждение, он стягивает с жены блузку, протискивает руку между ее ног, наклоняется над ней, но в самый волнующий момент, когда близость вот-вот приведет к ожидаемому финалу, кухня резко накреняется, и их обоих с грохотом сносит к окну. Краем глаза Сергей ухватывает надвигающийся на него с неумолимой тяжестью холодильник.

В этот момент он и просыпается по-настоящему, с чувством неловкости из-за наступившей его под утро поллюции, и, аккуратно протиснувшись мимо сонной жены, направляется в ванную.

Стоя под душем, он смущенно перебирает в памяти подробности вчерашнего разговора. Началось с того, что Лена обнаружила в компьютерных завалах его потайную папку, как-то впопыхах составленную и не то чтобы бережно хранимую – он и просматривал-то ее пару раз, когда жена уезжала встретиться с подругами и зависала на ночь. Собственно, это он сам, Сергей, вернувшись из магазина, застал жену за просмотром какого-то невзрачного, вполглаза им виденного и давно стершегося из памяти ролика из категории «любители»: лесная лужайка, трогательно расстеленный на траве коврик, на котором два худосочных тинейджера, комично отмахиваясь от насекомых, долго и упорно убаживают разбитную деваху.

Сергей тогда застыл на пороге, усиленно соображая, какие объяснения в данной ситуации могут считаться удовлетворительными, – но Лена даже не оглянулась на мужа. Она явно не считала нужным скрывать свой интерес к происходящему на экране, и Сергей никак не мог решить, чего в этом интересе больше: искренней зачарованности или показного укора, готовности испить чашу его мысленных прелюбодеяний до дна. Он даже дернулся было, чтобы что-то сказать, как-то оправдаться – или, может быть, наоборот, атаковать, мягко поддеть жену, перевести все в шутку, но так и не определился с нужной интонацией, так что слова бездарно застряли в горле, оборвавшись слабым мычанием.

И в этот момент Лена обернулась:

– Почему ты мне об этом ничего не рассказывал?

– Да и рассказывать-то не о чем... – начал было Сергей.

– Вот только не надо этого! – прервала его Лена и сама ненадолго запнулась. – Скажи, – продолжила она, сбиваясь на шепот, – ты бы тоже хотел... так, как там?

Лена посмотрела на мужа с детской открытостью, из которой сквозило чистое вопрошание – пристальное внимание и холодная, стерильная строгость, не допускающие в собеседнике способности свернуть в сторону или отделаться общими словами. Но Сергей сразу, к облегчению своему, понял, что в этом взгляде нет обвинения. Это был взгляд соучастницы.

Они легли далеко за полночь, без конца разливали красное чилийское, развязывая языки, ворошили осевшие в укромных уголках сознания сексуальные фантазии и вываливали их друг на друга, дофантазируя уже на ходу, исповедуясь даже в том, чего в виду никогда не имели: с перехлестом, с азартом финального саморазоблачения. Много не мало. И сейчас, застыв под горячей струей с зажатым в кулаке тубиком шампуня, Сергей мучительно вспоминает, как много лишнего было сказано, сколько всего ненужного, скользко-неприятного он предпочел бы не услышать от Лены.

Главное, с какого перепуга им взбрело лазить по свингерским сайтам, изучать объявления, чуть ли не звонить по указанным номерам, а затем набирать в четыре руки свое: «Молодая семейная пара познакомится...» – с кем бы вы подумали? – «... с симпатичным парнем», о господи, какая дикая пошлость! – да еще и реальные контакты при этом указывать? Кто вообще предложил это первым? Неужели он? Нет, максимум, что он мог себе позволить, это вольные цитаты из Бегбе-

дера и прочего евротрэша, осторожно намекающие на то, что некоторые не боятся испытать свои фантазии на практике, – зато уж, когда Лена вцепилась в эти намеки с хваткой пантеры, что ему оставалось? Только ринуться, задрав штаны, вслед за ней, в манящую эротическую даль.

«Может быть, еще не поздно удалить этот идиотизм – вытащить из истории посещений вчерашнюю страничку, нажать где нужно?..» – думает Сергей, уставившись невидящим взглядом в битую кафельную плитку и покрытую черными разводами сползающую побелку – вся эта красота досталась им от прошлых хозяев, – но тут же осаживает себя. Ну уж нет, хватит, больше он на этот сайт не полезет. Просто надо, наверное, завязывать с пятничным семейным пьянством, на какой-нибудь более позитивный вариант досуга перестраиваться...

Наскоро вытершись, Сергей так и идет, голышом, по квартире, мокрыми пятками собирая рассыпанные по прихожей мусорные крошки. Возвращается в комнату, весь промытый изнутри пафосом обновления. Лена поглядывает на него из-под краешка одеяла – как ему кажется, напряженно ожидая чего-то, – и сам он теряет запал, остается стоять в некотором отдалении от жены, чуть сгорбившийся, взгляд в пол, будто памятник общей вине. Пауза нарастает до состояния почти непристойного, вбирая в себя с каждой последующей секундой все больше совсем не чеховских подтекстов, все дальше загоняя в тупик чуть ли не фарсовой уже отчужденности, пока Сергея не осеняет.

– Давно мы никуда не выбирались, – произносит он с неожиданной бодростью. – Жара такая – сейчас у воды где-нибудь хорошо...

– Идея!.. – на Ленином лице появляется робкая улыбка, в которой благодарность одерживает зримую победу над затаившимся недоверием.

И вот, после наспех состряпанного завтрака – ест один Сергей, Лена на диете и ограничивает себя половинкой огурца, – они уже мчатся в электричке, высаживаются в незнакомом городе, принимая время от времени бестолковые сверки с путеводителем по Подмоскovie, тыкаются куда-то не туда, хохочут, выспрашивают прохожих. Наконец, измотанные внезапно свалившимся на них счастьем, добредают до озера, совсем неидиллического вида, но это уже и не важно, потому что цель достигнута и можно наконец отдохнуть; проводят целый день под звуки кабацкой музыки на заваленном отходами рекреационных форм жизнедеятельности берегу, пропотевая под жарким солнцем и ленясь пошевелить губами; периодически предпринимают погружения в илстую пахучую воду, вызывающую по контрасту ностальгические воспоминания о прошлогодней Адриатике.

Домой Лена с Сергеем возвращаются затемно, взявшись за руки, как молодые. Кажется, что все вернулось в обычное русло, но обогатилось при этом чем-то новым – ощущением некоторой приподнятости над собственными отношениями, что ли. Ночной секс, поначалу робкий и почти неосознанный, но раскручивающийся потом до истеричного самовозвода, до концерта сладострастия, становится окончательным и, по сути, чрезмерным уже подтверждением супружеского единения.

– Я тебя никому не отдам, никому. Пусть только попробуют! – напоследок ластится к мужу Лена, с наигранным отчасти лукавством.

– Ну, ты смотри у меня, тоже не того... – бормочет он в ответ, улыбаясь скорее уже рефлекторно. – Знаю я тебя, попрыгунью...

Вскоре соседи этажом выше снова заводят свою оперную перепалку. Тогда Сергей, слегка приподнявшись на локтях, осторожно заглядывает в тронутое лунным отблеском Ленино лицо – спит, не спит? – и надолго застывает в таком положении. Что-то непроницаемое, чужое мерещится ему в умиротворенно раскинувшейся на кровати жене – что-то такое, что никогда не дастся ему в руки, даже в моменты самой глубокой близости. И одновременно его охватывает тошнотворная догадка о том, что цена этому «чему-то» – от силы пара копеек.

Просачиваясь сквозь неплотно задернутые шторы, комнату заливают дневной свет. Лена приоткрывает глаза, недовольно щурится и закутывает голову в одеяло, но снова погрузиться в сон ей не дает звонок мобильного.

Лена нащупывает телефон на полу; едва не выронив, подносит его к уху. Муж, конечно...

– Алле? Привет. Нет, встала. Встаю, встаю... Сколько времени? – сонно бормочет она в трубку.

– Первый час. Ты, пожалуйста, не разлеживайся, голова будет болеть. Я уже пообедать успел...

Сергей старается говорить уверенно, по-деловому, но голос почему-то вкрадчивый, вздрагивающий на поворотах.

– Ты откуда звонишь? – настораживается Лена. – Ты не на работе?

– На работе, на работе, покурить вышел. Слушай, у меня тут новости... Погоди, сейчас отойду.

Сергей пыхтит в трубку, затем на короткое время пропадает. Лена слышит на заднем плане чужие разговоры, доносятся обрывки матерного анекдота, кто-то заходится в смехе. Продолжая держать телефон возле уха, она поднимается с постели, нащупывает среди одежных развалов мужнину рубашку, накидывает на голое тело. Встав напротив заляпанного зеркала, пытается критически себя разглядеть, уклоняется от солнечных бликов... Наконец Сергей снова проявляется, переместившись, судя по всему, подальше от сослуживцев. Говорит прерывисто, сосредоточенно, как будто телеграмму отбивает.

– Мне сегодня мейл пришел, час назад примерно. Надеюсь, шутка, но кто знает?.. Ты слушаешь?

– Слушаю, говори, – рассеянно отвечает Лена.

По пути на кухню она механически переступает через расставленную посреди комнаты посуду, но спотыкается при этом о выставленную в прихожую стопку журналов, после чего та расползается по полу.

– В общем, засекли наше объявление, – тем временем продолжает Сергей. – Появился, представь себе, один желающий. Намеревается нас сегодня посетить... Мы, прости за напоминание, домашний адрес свой умудрились оставить. Ну и вот, Ричард нарисовался...

Дойдя до кухни, Лена приподнимает стоящую на плите турку. Разочарованно ставит обратно: пустая.

– Погоди, ничего не соображаю... Ты мне кофе опять не оставил... Когда, сегодня? Кофе я просила всегда мне оставлять!.. Почему Ричард?

– Господи, понятия не имею!.. Ну, ник такой, наверное. Ричард Львиное Сердце там, я не знаю... – Сергей начинает раздражаться. – Я, конечно, написал, что все отменяется, но ответа пока нет. Вот, предупреждаю на всякий случай.

Не прекращая разговора, с телефоном, плечом прижатым к уху, Лена насыпает в немую турку порцию молотого кофе, наливает воды из-под крана, ставит на конфорку... И внезапно разражается взрывом хохота – похоже, до нее только сейчас дошло, о чем ей втолковывает Сергей.

– Львиное Сердце, господи Иисусе! Как охренительно романтично! Подожди, он тебе фото прислал? Нет? А если это обезьяна какая-нибудь?.. Слушай! Помолчи, помолчи! – захлебывается Лена в смеховой истерике. – Он же наверняка ВИЧ-инфицированный! Круть какая! Ходит по объявлениям, всех заражает... Чтобы утащить с собой в могилу как можно больше народа! Нет уж, ты скажи ему, пусть справку приносит!..

– Я не понял, – Сергей ледяным тоном обрывает поток ее красноречия, – ты что, всерьез этот вариант рассматриваешь?..

– А ты что, нет? – мгновенно успокоившись, парирует Лена.

– Так... – тяжело выдыхает Сергей. – Все, я кладу трубку. Вечером поговорим.

Лена собирается еще что-то добавить, но уже поздно, и, махнув в раздражении рукой, она задевает турку, так что недоварившийся кофе разливается по плите.

– Блин! Ерунда какая-то...

Пока Сергей делает карьеру в рекламном бизнесе, Лена уже шестой месяц сидит дома – как она говорит, устала от вечного стресса, надо прийти в себя, заново все осмыслить, может быть, получить второе образование. Вроде бы даже начинала готовиться к поступлению, пролистывала экономические учебники, но не сказать, чтобы ее все это сильно зацепило, и последнее время Лена в основном обретается в социальных сетях, черпая оттуда житейскую мудрость и заряд оптимизма. Помимо прочего, с головой погрузилась в комьюнити «впервые беременных» – энтузиасток своего интересного положения, заявила, что хочет уже наконец и родить, но дело это непростое, серьезно настраиваться надо за год минимум. Сергей тогда сказал, что всецело ее поддерживает и, если что-то надо с его стороны, он готов. Лена только усмехнулась несколько свысока: в том смысле, что не вам, мужчинам, нести тяготы материнства, – и от противозачаточных таблеток отказываться повременила.

Сергей и не рыпается, дает жене спокойно потунеядствовать и не торопит ее стратегически определяться. На семейном бюджете Ленин безработный статус практически не сказывается – в бытность ее офис-менеджером зарплаты хватало фактически только на накладные расходы: дорога туда-обратно, обеды плюс регулярные сборы на дни рождения сотрудников – сколько же там у них сотрудников было, страшно себе представить. Отчасти Сергей даже гордится, что может позволить жене сидеть дома, раз ей сейчас так нравится, но гордость эта не вполне искренняя и, сам себе в том не признаваясь, он давно уже ждет от Лены чего-то, каких-то серьезных решений, потому что нельзя же бесконечно репетировать будущее: взрослые люди вроде бы. Так что сегодня, вернувшись домой на взводе (дела весь день шли наперекосяк, к тому же от таинственного Ричарда ответа так и не поступило; черт знает, во что они вообще вляпались), Сергей оглядывает жену с показным уже на этот раз недоумением.

Та встречает его в красном вечернем платье, приобретенном специально ради новогоднего корпоратива и с тех пор ни разу не надеванном: очевидно, нешуточно настроилась на гостей. Сергей собирается было сказать ей по этому поводу что-нибудь обидное, однако в Ленином взгляде читается такая боязливая вкрадчивость, страх быть раненной нечутким вторжением в свой внутренний мир, что он покорно гасит в себе раздражение и, разувшись, молча проходит к компьютеру.

В первую очередь – стереть субботнее объявление: на работе он так и ерзал на стуле, но не решался этого сделать, все-таки любая вылазка в сеть сечется техслужбой, мало ли что. Порывшись в журнале браузера, Сергей заходит на нужную страничку, восстанавливает в памяти логин и пароль – надо же, сработало, – ищет среди прочих объявлений свое, против воли застревая на мелькающих повсюду приглашениях к знакомству, порой весьма экзотических, с трудом находит функцию «удалить». Уф, готово...

– Ну что, так нормально? – Лена стоит в проеме двери, сжимая в руке еще одно платье, все в оборках и цветочках – купили прошлым летом в Хорватии. Она дает себя придиричиво осмотреть, затем приподнимает второе платье и, трогательно склонив голову, прикладывает к своей фигуре. – Или это лучше?

– Надо, наверное, какой-то ужин было приготовить... – произносит Сергей, неожиданно подчиняясь не вполне им самим осмысленной инерции, – и тут же понимает, что одной этой фразой сдал все накопленные к вечеру моральные позиции.

Лена, почувствовав, что муж ослабил поводья, мгновенно меняет регистр.

– Я вообще-то на диете, – возражает она капризно. – На колымской, если для тебя это новость. Строжайшая! Ты представляешь, какая это пытка: ограничивать себя в каждой калории, в каждом миллиграмме жиров?..

Сергей примирительно разводит руками – как будто физически пытается сгладить наметавшийся конфликт. Но Лена усиливает атаку:

– И ты думаешь, что я способна стоять у плиты, вдыхать запахи?

– Слушай, сейчас ты выглядишь отлично. Очень сексуально, по-моему, – окончательно теряется Сергей.

– Боже, я с ума сойду! – развивает Лена успех, как будто не заметив комплимента. – Какое платье выбрать? Я вообще не представляю, как себя вести, что надеть!

– Думаю, главное – расслабиться...

– Расслабиться? – состроив презрительную гримасу, Лена застывает. – Как ты вообще мог выговорить такое? Фу, пошлость какая!..

– Да подожди, ты меня не так поняла, – Сергей, вскочив из-за компьютера, с распростертыми объятиями подбегает к Лене, но она ставит выдвинутыми вперед ладонями невидимую перегородку между собой и мужем.

– Все, я еду к Рите. Где мой телефон? Набери меня.

– Успокойся, пожалуйста. Зачем ты это?..

Сергей в полной растерянности начинает обшаривать свои карманы в поисках мобильного, но назревающую сцену с заведомо предсказуемым мелодраматическим финалом обрывает звонок в дверь. Сергей бросает на жену встревоженный взгляд – та глубоко вздыхает и прикрывает глаза, – после чего, наскочив впопыхах на коробки с неопознанным содержимым, идет открывать.

Лена поправляет прическу и подтягивается следом...

– Добрый вечер! – улыбается им с лестничной клетки подтянутый молодой южанин, весело поигрывая выпирающей из-под черной майки мускулатурой. – Я Ричард.

Пока хозяева пребывают в замешательстве, он протискивается в прихожую и добродушно протягивает в пустоту букет роз. Во второй руке болтается пакет.

Затянувшуюся паузу нарушает Лена:

– Он что, гастарбайтер?

Южанин, как ни в чем не бывало, продолжает улыбаться во весь рот, а Лена, не получив ответа, резко разворачивается и шумно уходит в кухню. Сергей провожает жену коротким смущенным взглядом, затем растерянно, но стараясь соблюдать вежливость, обращается к гостю.

– Проходите, кепку вот сюда можно повесить... Вы с Кавказа, простите?

– Москвич, коренной! – радостно тараторит тот с характерным акцентом, всучив наконец свой букет Сергею. – Мать, отец, братья – те в Степанаване, а я теперь местный. Есть регистрация. Правда, не продлили. Сессию завалил, представляешь?.. Ничего, восстановлюсь!

И, как будто желая рассеять последние сомнения, добавляет:

– Паспорт могу показать.

– Да нет, что вы. Это лишнее, наверное. Тапочек у нас, к сожалению, нет. Проходите так. Можете не разуваться... Приготовить ничего не успели. Пельмени любите?

– Спасибо, я сытый, – Ричард с довольным видом поглаживает себя по животу. – Но я не с пустыми руками.

Покопавшись в пакете, он достает бутылку коньяка.

– Настоящий армянский, здесь такой не купите. Бодяжат.

– Ой, спасибо! Несите в комнату, – Сергей показывает рукой направление. – Пакет прямо тут можете бросить, – потом громче. – Лен! – и снова Ричарду. – Располагайтесь там, подождите секундочку.

Не выпуская букета, Сергей торопливо проходит на кухню, машинально отодвигает вставшую на его пути табуретку. Лена стоит у окна в своем красном вечернем платье, таком нелепом на фоне облипшей слоями грязи газовой плиты и свисающих клочьями обоев с выводами тараканов в расщелинах.

– Леночка, давай только без сцен, – Сергей трогает жену за плечо. – Ну? Кто виноват, я? Мирно поговорим, разоидемся...

– Это что вообще?! Ты как себе это представляешь? – на полупшепоте отвечает она, хлюпнув носом.

– Ну не будь ты расисткой! Он армянин. Армяне – интеллигентные люди. Актеры, музыканты, ученые...

– Замечательно! Занимайся, пожалуйста, чем хочешь со своим музыкантом, меня только в это не втягивай. Я сейчас собираю вещи и уезжаю. И не трогай меня!

Сергей отстраняется. В задумчивости вышагивает по кухне, затем находит пустую банку, наливает в нее воды из-под крана, приспосабливает туда цветы.

– Он коньяк принес, редкостный какой-то. Неужели даже не попробуешь?.. Давай действовать заодно все-таки, – говорит он и добавляет сакраментальное:

– Ты прости меня, если в чем-то был неправ. Но ты тоже, согласишься...

Лена оборачивается с видом подчеркнуто несчастным, но не отнимая при этом от губ тюбика с красной, в тон платью, помадой.

Через полчаса становится заметно веселее, бутылка наполовину опустошена, хотя разговор все еще не то чтобы очень клеится. В основном солирует Ричард, рассыпая перед слушателями запасы специфического кавказского остроумия. Завершив очередную залихватскую историю о своих московских приключениях, он замолкает, источая взглядом дружелюбие, но явно чего-то ожидая от хозяев.

– Да, коньяк действительно потрясающий... – отстраненно комментирует Сергей.

– А я вам что говорил! – с сияющей улыбкой поддакивает Ричард.

– Но мы встретились не для этого...

– Нет-нет, не для этого! – прямо-таки взывает Ричард от наслаждения, видимо, восприняв прозвучавшую фразу как приглашение к оргии.

Что, конечно, не так. Сергей давно уже пытается подобраться к тому скользкому обстоятельству, которое и позволило им находиться сейчас в одной комнате, – подобраться, чтобы поставить смысловую точку и тут же эту тему закрыть, однако Ричард, как несложно предположить, не демонстрирует ни малейшего желания вдаваться в сложноподчиненные перипетии его сознания. Перехватив Ленин взгляд – та, покрасневшая от выпитого, вертит колечко на пальце с видом Царевны Несмеяны, ожидающей прибытия следующей клоунской бригады, – он по-свойски ей подмигивает, затем кивает Сергею:

– Слушайте, ребята, вы слишком далеко сидите! Обнимитесь, поцелуйтесь! Как муж и жена. Горько! – Ричард вливает в себя рюмку и, поморщившись, подскакивает к кровати, мягко прихватывает Сергея под локоть, жестом подталкивает к Лене.

– Я ведь могу тебя поцеловать? – осторожно уточняет Сергей, кляня себя за интеллигентскую неспособность дать отпор чужой навязчивости и ощущая одновременно, как, вопреки всякой вероятности, в нем набирает силу эротическое волнение.

Оживает и Лена.

– Ой, я не знаю!.. – негромко произносит она и с интересом смотрит на Ричарда. – Есть такой момент, какого-то смущения...

Однако Сергей, с колотящимся сердцем, как будто решается переступить через строгий моральный запрет, чуть ли не инцест совершить, подается к жене еще ближе, и их губы сплетаются в поначалу скованном, но чем дальше, тем сильнее увлекающем их обоих поцелуе.

Ричард с радостной улыбкой следит за происходящим, потом, решив, что дело заходит слишком далеко, подает голос.

– Ах, какой поцелуй! Чистый мед!

Сергей нехотя отрывается от Лениных губ, но продолжает, все еще в состоянии легкой эйфории, придерживать ее за талию.

– Да, мы увлеклись несколько...

– Ребята, а вы как хотели? Чтобы все втроем? Одновременно?.. – вкрадчиво мурлыкает Ричард.

Сергей, переглянувшись с Леной и прочитав в ее лице смутное одобрение, нервно пожимает плечами.

– Вообще, я не знаю... – путано объясняет он. – В принципе, мы рассматривали немного другой вариант. Вы с Леной вдвоем – ну, то есть, не именно вы, мы как-то абстрактно все это себе представляли... В общем, Лена с кем-то занимается, грубо выражаясь, любовью, а я потом захожу, застаю их – то есть вас. Черт!.. Ну, и тоже включаюсь. Такая как бы ролевая игра. Как будто я из командировки вернулся, или что-то в этом духе. Но мы, конечно, не думали, что все это будет так... так наглядно, что ли... Лен, я правильно излагаю?

– Ну... – с вызовом глядя на гостя, говорит Лена.

– Потрясающе! Ну и фантазия у вас! Молодцы! – восхищенно вытягивает Ричард.

– Ричард, чисто теоретически я мог бы вам уступить свое место, – слгтывает Сергей. – Но тут все зависит от Лены, она хозяйка положения, – добавляет он и тут же поправляется:

– В данном случае, я имею в виду.

Ричард, не давая Лене высказаться, резко мрачнеет.

– Нет, ребята, погодите, я так не могу.

– В смысле? – поднимает брови Сергей.

– Не могу любить в таких условиях, – Ричард с легкой брезгливостью оглядывается по сто-
ронам, задерживаясь на торчащих отовсюду признаках хозяйского нерадения. – Любовь – это
когда чистота, красота, когда душа летит над горами. Давайте, может, порядок наведем? – он изо-
бражает, что держит в руках пылесос. – Пыль сотрем, да? Потом в тазик воды нальем, тряпкой
пройдемся. Тазик есть у вас? Вещи туда-сюда разберем. Красота настанет!.. Ну! Не сидите вы как
на свадьбе. Раз-два!..

Примерно через час, когда Сергей заканчивает возить по полу мокрой тряпкой, а Лена, сме-
нившая платье на спортивный костюм, губкой стирает со шкафа последние пылинки, Ричард по-
является на пороге комнаты и, оценив степень ее преображения, хлопает в ладоши.

– Вот красавцы! – сияет он счастливой улыбкой. – Ведь лучше так, сразу жизнь другая?

– Что-то я вымоталась... – глубоко выдыхает Лена.

– Ну и хватит на первый раз! Вижу, все устали. Любовь-морковь, всё потом. Отложим, да?
Время позднее, метро не ходит. Я тогда у вас переночую, завтра перестановку сделаем – такая
любовь начнется, хоть в интернет выкладывай...

Ричард деловито, с видом заказчика, принимающего объект, прохаживается по комнате, за-
глядывает в укромные уголки: всё ли тщательно выметено, чисто ли под шкафом, не осталось ли
пыли между стопками книг. Заодно выравнивает сами стопки.

– Вообще, ребята, если без вранья, нужен вам ремонт. Точно говорю. Обои – что это за обои?
Кто так живет? Сантехнику смотрел – куда годится? Трубы надо менять. Потолки навесные сдела-
ем. Кухня будет!.. – Ричард подносит пальцы к губам и, громко чмокнув, целует их.

– Спасибо, конечно, – напрягается Сергей. – Может, мы все-таки сами разберемся?

– Сами?! – Ричард иронически покачивает головой. – Вы сколько здесь живете? Сказали, три
года? Что же не разобрались? Я понимаю, ты на работе, Леночка одна не справится. Меня вам
сам бог послал! Что, куда, где дешевле – всё знаю. Сам всё сделаю, от души, – никаких рабочих не
надо! Копейки не попрошу. Сердце просто разрывается: такие хорошие ребята, и при деньгах – а
живут как свиньи.

Сергей неуверенно протестует:

– Полегче, может быть?

– Не обижайся, ара, – Ричард хлопает его по плечу. – Не хотел обидеть. Только ты сам поду-
май: ремонт сделаем – что там втроем? Всех друзей-подруг пригласить не стыдно!

Последнее слово, впрочем, остается за Леной, а она, как скоро становится ясно, просто в вос-
торге от идеи Ричарда и даже не против предоставить ему кров на время ремонта – так что от-

ложенные средства немедленно решено потратить на капитальное благоустройство быта. Больше часа проходит в обсуждении первоочередных трат и составлении сметы, а затем, постелив Ричарду матрас на кухне, Лена с Сергеем на цыпочках пробираются в постель.

Сергей, под доносящееся из кухни похрапывание, исподтишка пробирается к Лене под одеяло, чтобы пошептаться наконец без свидетелей, но та держится отстраненно – закутывается с головой и на контакт идти отказывается, ссылаясь на то, что еле жива от усталости.

– К тому же чужой человек рядом.

– А, ну да... – хмуро поддакивает Сергей, убедившись, что все попытки расшевелить жену ни к чему не приведут.

Он удручен и дезориентирован – прежде всего, нелепостью положения, в которое сам себя поставил, но и той легкостью, с которой, оказывается, можно за один вечер перевернуть с ног на голову все сложившиеся консенсусы, походя перекроить планы, впустить в свою жизнь черт знает кого. Утешает, что долго это продлиться не должно, и ремонт, конечно, дело стоящее: у него всё руки не доходили заняться бытом, да и Лена, надо признаться, могла бы со своим свободным графиком уделять дому внимание... Как она, однако, ухватила за эту идею, кто бы мог подумать... А ведь подразумевался-то секс втроем, бред какой, и он почти уже попался на крючок – точнее, нет, не он, не он, это Лену понесло с нечеловеческой силой, даже про справку не стала спрашивать (тьфу ты, боже мой, что он несет!)... А сам-то, с ним-то что случилось, он-то что не мог вовремя расставить все точки? Пора, пора сказать алкоголю звонкое прощай...

При помощи всего этого мыслевращения Сергей старается отгородиться от льющейся с верхнего этажа оратории любви и ненависти (соседи демонстрируют завидную стабильность), но на очередном варварском крещендо, начав было проваливаться в сон, открывает глаза, проверяет на мобильном время и вздыхает:

– Только на работу не проспять...

Возвращаясь домой, Сергей несколько озадаченно скользит взглядом по расставленным в прихожей мешкам и пакетам с сухими смесями, затирками, клеями, количество которых растёт с каждым днем, – Ричард суетится, сует Сергеем под нос товарные чеки, а потом весь вечер что-то бодро привинчивает и прикручивает, действуя на нервы; Лена держится с пугающе холодной отстраненностью и ждет выходных, – а когда наступает суббота, все втроем отправляются чуть ли не за МКАД, на разрекламированный Ричардом строительный рынок. Сам он размашистым нырком погружается под пластиково-металлические своды – в родную стихию, лавирует угрем между торговыми рядами, вскоре скрываясь из поля зрения, но предварительно в полусутку погрозив пальцем Лене и Сергеем, как непослушным детям: стойте здесь, никуда не отходите.

Оставшись наедине, они жмутся поодиночке, не знают, что делать, – действительно, как незнакомые дети, которых решили свести родители, а они никак не могут преодолеть стеснение; кажется, вот-вот, и бросятся друг на друга с кулаками. Впрочем, наедине – это громко сказано: со всех сторон наступают приценивающиеся покупатели, галдят, наступают на ноги, задевают локтями.

Лена решает наконец прервать молчание, указывает на один из стендов с испанским керамогранитом:

– Может, такой?

Сергей кисло пожимает плечами, отворачивается, выискивая хоть что-нибудь достойное изучения, и из обоюдного ступора супругов выводит внезапно вынырнувший из толпы Ричард. Он быстро перехватывает Ленин взгляд, успевает за секунду разыграть лицом сложно синкопированный мимический танец, представляет перед собой поднятые ладони.

– Сюда даже не смотрите! Плохой товар, и цена не подходит. Я вам другой выбрал – ух! Берем не глядя.

– Почему? – уныло спрашивает Сергей.
– Ара, не торопись! Сейчас размер посчитают, скажут. Дешево выйдет, скидка хорошая.
– Ричард, а с паркетом что? – льстиво-уважительно, как подмазывающаяся к учителю школьница, вклинивается Лена.

Сергей, уловив эту интонацию, внутренне поеживается; Ричард даже бровью не поводит, продолжает уверенно строчить:

– За паркетом в другое место надо. Здесь возьмем – прогадаем. Я знаю, куда ехать. Там и двери выберем. Будет у вас не дом, дворец настоящий! – он прямо-таки причмокивает. – Сто тридцать дней Содома!

После этой поездки Сергей окончательно отстраняется от семейной повестки дня, и Лена на его участия тоже больше не настаивает. Какой смысл тупо пилиться на скопления стройматериалов, топтаться ради проформы возле прилавков, делая вид, что участвуешь в выборе, если никакого выбора фактически не предполагается: у Ричарда свои соображения и расчеты, он здесь в своих владениях, только он соображает, какие детальки подобрать, чтобы из них можно было составить работающий комплект, знает, что к чему приладить – и при этом еще сэкономить по мелочи. Рядом с собой ему достаточно Лены, которая чутко держит палец на финансовом спусковом крючке – все полномочия Сергей передал ей; в конце концов, на покупку очевидного треша она не согласится, так пусть тешит себя собственной значимостью. Ей в кайф вариться в этой ремонтной каше; ну что же, всяко лучше, чем маяться в интернете и отягощать себя модными диетами, – так что сооружение дворца идет своим чередом, а Сергей все чаще ловит себя на том, что предпочитает задержаться на работе, да и потом выбирает не самый короткий маршрут, шага, как раньше, не ускоряет, иногда даже присаживается в незнакомых дворах на лавочку, с бутылкой дорогого чешского пива.

Однажды, подходя солнечным июльским вечером к дому, он притормаживает, понимая, что попал в самый разгар строительной вакханалии. Рядом с их подъездом припаркована грузовая «ГАЗель». Водитель подает из кузова коробки с паркетными досками, банки с лаками, еще какие-то непонятные штуковины, Ричард, стирая со лба капли пота, принимает все это и сгружает на скамейку возле подъезда, а Лена верным оруженосцем, нарядная, счастливая, придерживает заплеванную подъездную дверь. Помедлив, Сергей все же находит в себе силы приблизиться – неверной походкой заключенного, которого ведут на эшафот.

– Всё выгрузили, дорогой? – кричит водителю Ричард и, заметив Сергея, криво улыбается. – Ну вот, уже дело. Скоро до кухни дойдем – ах, как всё заблестит!

Лена, кивнув мужу, изливается неистощающим за последнюю пару недель восторгом:

– Ричард, у меня просто нет слов!.. Тебе помочь, может быть?

– Ну, что ты, что ты...

И Сергею, конечно, приходится подхватить часть груза, чтобы не чувствовать себя совсем уж лишним на этом празднике бытообустройства.

Вечерние разговоры с женой сводятся к поверхностным полуфразам, то и дело зависающим отнюдь не многозначительными паузами: «Ты ел? Сваришь себе пельмени? Я так устала, носились весь день по городу...» – «А что, Ричард надолго занял ванную?» – «Он ее не занял, он нам сантехнику меняет, от тебя три года этого не могла дожидаться...»

В итоге Сергей ютится на кухне, наедине с кастрюлей и пакетом пельменей, из глубин уныния вспоминает про выкупленного наконец Джонатана Франзена с его новой сагой о распаде семейных связей. Идет за портфелем в прихожую, чуть не споткнувшись о ползющего на карачках с рулеткой в руках Ричарда, возвращается, трепетно достает картонный конверт с логотипом интернет-магазина «Фармазон» – прочный, однако; вскрывает при помощи кухонного ножа и вынимает цветастый глянцевого том... Черт! Ну конечно, чего-то в этом духе и следовало ожидать. Верхний край корешка зияет примерно двухсантиметровым разрывом: вот тебе и библиофиль-

ские радости. Ведь спрашивали, предлагали проверить на месте, а он – вот куда ему было торопиться? В этот пельменно-паркетный ад?

И потом уже, когда Ричард раскладывает себе в прихожей, а Лена возбужденно лазит по сайтам с фотографиями образцовых домашних интерьеров, Сергей, чтобы не вступать в неприятные для обоих контакты, устраивается на кровати с Франzenом в руках, пытаясь таким образом все-таки примириться с разочарованием. Но попытки зацепиться за текст проваливаются, пальцы сами собой тянутся к трещине, растравляя душевную рану, – и вскоре Сергей замечает, что буквы деформируются, расплзаются в стороны и напечатанное на страницах начинает раскачиваться перед ним, как квартира в том – давнишнем, как теперь уже кажется, – сне.

Он убирает книгу подальше с глаз и идет наконец в ванную – на цыпочках, чтобы не потревожить Ричарда.

Разумеется, вскоре Сергея прорывает – внешним поводом становится какая-то ерунда, то ли потеря его любимой кружки в недрах недавно встроенного кухонного шкафа, то ли то, с какой нежностью Лена склоняется над этим крепким хозяйственником, в поте лица разводящим в тазике побелку для потолка: «Передохнешь? Я чай заварила». В отчаянии он тащит жену на кухню, плотно закрывает дверь, обрушивается на нее злым, бессвязным монологом.

– Я тебя не понимаю. Наконец-то живем в нормальных условиях, – холодно отвечает Лена и, усаживаясь на новый стул, тянется к баночке с кремом.

– В нормальных? С Ричардом за стенкой? Когда у нас с тобой секс последний раз был, не помнишь?

– А ты что, соскучился? – Лена с вызовом втирает крем в лицо, вглядываясь в косметическое зеркальце. – Я думала, ты где-нибудь в другом месте удовлетворяешься.

– Что?! В каком месте? – у Сергея темнеет в глазах, его начинает закручивать в бездонную воронку ярости и, чтобы удержаться, он грохочет кулаком о стол.

– Ну, я не знаю, – Лена сохраняет полное спокойствие. – Где-то ведь ты должен реализовываться как мужчина. Если дома не получается. Как минимум, в какой-нибудь уединенной кабинке...

– Что ты несешь? В какой, на хрен, кабинке? Охренеть! На чьи, блин, деньги всё это делается? Кто здесь не мужчина?!.. Ты, кстати, сама работу поискать не планируешь? Как кредиты возвращать, у тебя есть идеи? Резюме разослать руки никак не дойдут?

– Не собираюсь я ничего рассылать.

– И как это понимать? – замирает Сергей.

– Так. Глупо рассылать резюме, если заранее известно, что тебя никуда не возьмут.

– Да почему не возьмут-то? Это всё твои страхи и комплексы, и пора бы уже повзрослеть...

– Я тебя уверяю, это не комплексы, – перебивает Лена. – Это факт. Никому не нужна беременная сотрудница.

В этот момент из глубин квартиры раздается звук включенной дрели: что-то продолжает приколачиваться, прибиваться, для чего-то делаются дырки, хотя очевидно, что на самом деле всё давно развалилось, разъехало и никакие шурупы уже не помогут.

Лена торжественно, вельможной походкой, как будто невидимые вассалы несут ее, муравьиновую царицу-матку, покидает кухню, но Сергей нагоняет ее, хватая за плечи, оттесняет к ванной, пытается перекричать визг дрели.

– Беременная? Это шутка?

– Не прикасайся ко мне! И не смей повышать на меня голос!

Лена сбрасывает со своих плеч его руки – две невесомые, дрожжащие плети, проскальзывает в ванную и запирается. В это время дрель замолкает. Сергей некоторое время стоит, пытаясь сконцентрироваться, собрать мысли в точку, потом начинает биться в дверь ванной:

– От кого? От кого?!

Из ванной раздается шум включенной воды. Обхватив голову руками, Сергей возвращается на кухню, садится на стул и, впервые за несколько лет, разражается слезами.

– Что за шум, а драки нет? – доносится из прихожей миролюбивый голос Ричарда.

Он заходит на кухню и, увидев сотрясающегося в рыданиях Сергея, качает головой, присаживается рядом. Крепко обнимает Сергея, прижимает к себе, гладит по спине.

– Ай-ай-ай! Такой большой, а плачешь. Ну, успокойся, ара, ты же мужчина. Что ты так расстроился? Скоро лето – все вместе к нам в горы поедem. Воздух там какой, облака! А вода ключевая! Ты и не пил здесь такой никогда. Научу тебя на дичь охотиться, на кабана. С ружьем умеешь обращаться? Как так? Нет, посажу я тебя на коня, дам ружье, на охоту с ночевкой поедem... А Леночка будет нас ждать, обед готовить. Ей сейчас напрягаться много не надо. Радость скоро большая у вас. Родится к зиме наследник – какой отец у него! На лошади, с ружьем, в бурке – загляденье! Будет сын на тебя похожим, такой же джигит, сделаешь настоящего мужчину из него. Как назовешь-то, решил? Нет? Ну ладно, время есть еще...

Сергей, немного успокаиваясь, продолжает всхлипывать. Он смотрит за окно, на прорезанные свечками-многоэтажками городские окраины и в этот момент понимает вдруг, что всё это происходит с ним на самом деле, что ничего нельзя отменить, что страницы его жизни заполняются день за днем – плотно и уже навсегда. Когда Ричард замолкает, Сергей с надеждой прислушивается к звукам дома. Но соседи не скандалят, они давно уже затихли, с тех пор примерно, как начался ремонт – видимо, что-то у них наладилось. Бросили пить? Развелись, кто-то умер, попал в больницу?

Тишина, глухое молчание, только далекий шум воды из ванной и отрывистое дыхание Ричарда. Видимо, пора просыпаться по-настоящему. Впереди два выходных – два дребезжащих, замызганных вагончика счастья.

Новостной сюжет

Когда русские войска взяли Грозный и отогнали чеченцев подальше в горные районы, собрали по окопам и землянкам солдат, посадили в военные грузовики и повезли в Ханкалу извилистой горной дорогой.

Тогда в Ханкалу из Москвы прилетал очень большой генерал. Он хотел сам на месте вникнуть в обстановку, узнать, почему нет до сих пор окончательной победы, отдать последний и важный приказ, разругать генералов чинами поменьше, побеседовать с офицерами и вручить солдатам награды.

Награждение солдат должны были снимать на камеры и показать по всем основным каналам. Из штаба группировки была спущена телефонограмма в полки, стоявшие в горных районах Чечни. Генералы все в Ханкале, офицеров тоже много ошивается, а солдат для награждения везти из боевых частей.

В одном полку почитали телефонограмму, отобрали солдат, отличившихся в зимних боях и на операциях. Кто-то снайпера сбил метким огнём, кто под пулями перебегать не боялся и товарища выручил, а кто и просто был у командира на хорошем счету или хорошо офицерам суп готовил. Но и отличившихся много собрали. Русскому солдату ни каска не нужна, ни бронежилет, никто его ничему не учит, а воюет так, будто он всю жизнь воевал – ничего не боится и к боевой обстановке быстро прилаживается.

Самых отчаянных только забраковали: кто и храбрый в деле, но с командирами спорил, приказы обсуждал или водку у чеченцев выменял на патроны и напился.

Свезли солдат сначала с ВОПов*, которые в самых гиблых местах стояли, в полк. Командир полка походил перед строем, как водится, поматерился. Дал отмашку: «По машинам!» Уже и колонну под пригорком составили – впереди и сзади по БМП с разведчиками на броне, в середине бортовые грузовики – ЗИЛ и «Урал». Разместились солдаты в кузовах, тронулась колонна из-под пригорка, на котором полк стоял.

Обстановка тогда в Чечне беспокойная была, того и гляди фугас на дороге сработает или обстреляют из леса. Везли солдат безоружными – так было приказано в телефонограмме, и солдаты оставили кто автомат, кто снайперскую винтовку или пулемёт под охрану своим товарищам. Такто на броне разведчики – под каждым автоматом у них подствольник; в башнях БМП пушки: у головной на сорок пять градусов влево повернута, у замыкающей – вправо. Но всё равно непривычно. БМП сожгут, разведчиков с брони размазает, без автомата что ты сделаешь? Хуже, чем на

* Взводный опорный пункт.

операции. Кто догадался, гранату положил в карман. Это разве себя подорвать, чтоб к чеченцам в плен не попасть: или сразу голову отрежут, или в зиндан посадят – никому не хочется.

Проехали по селу. Перед каждым домом на продажу десятилитровые бутылки с бензином выставлены, на улице Ленина рынок, людей мало, одни женщины в косынках у прилавков, подальше за рынком мечеть виднеется. За селом головная БМП резко круг очертила, разведчиков на ней качнуло в сторону, они вжались в броню, чтоб не свалиться. За БМП потянулись поворачивать ЗИЛ и «Урал».

Проехали место, где весной чеченцы расстреляли колонну омовцев и до сих пор обломки грузовика в кювете лежат. Кто в Бога верует, про себя молитву прочёл, но мало таких. Помолчали каждый о своём, снова все переговариваются, кто байки травит, друг дружку шутками задирают и смеются. Едут в приподнятом настроении, радуются, что на дембель с медалью вернутся, перебирают, какие медали есть – «За отвагу» хорошая медаль. А кому это всё равно, едет себе, куда везут, без автомата непривычно только.

Разведчики на броне, как из полка выехали, все повязали головы чёрными косынками, только у офицера на голове кепка. Сидит суровый. И разведчики его все такие. Из них для награждения тоже двое в «Урале» едут, отдельно держатся, на пехоту свысока поглядывают.

В реке дети купаются. Весёлые, шум стоит. Две девушки, молодые совсем, прямо в платьях купаются, взяли одного чеченёнка за руки и за ноги, раскачали, бросили подальше в реку – смеются, брызги летят. Горная река быстрая и чистая – солдаты на ВОПах пьют из неё воду и пищу готовят, воды не хватает привозной.

Дальше дорогу коровы переходят, на сигналы машин ноль внимания. Механик-водитель первой БМП высунулся из люка, смотрит на это дело, влез обратно и стал маневрировать между коров, как будто это вешки на полигоне. Коровы мычат, прут прямо на БМП рогами.

Наконец выбрались из стада коров, на горной дороге БМП скрежещут на подъёмах, грузовики сизым дымом заходятся. Справа лес над обрывами за рекой, а слева к дороге подступает. Проехали мост, слева на пригорке дзот торчит и два ствола зенитной пушки из-за плетня выглядывают – первый полковой ВОП.

У каждого ВОПа солдаты приветствуют своих товарищей, с которыми только утром попрощались. Иной раз те выбегают к дороге, но колонна не останавливается, идёт насколько можно быстро.

За полковыми пошли ВОПы соседнего полка, всё реже, а потом совсем закончились. Стали попадаться разрушенные строения и сгоревшая техника в кюветах: сначала уже ржавая БМП справа показалась и потом за каким-то селом танк без башни. Солдаты притихли до самой Ханкалы, стали больше всматриваться по сторонам. Кому до дембеля не так много осталось – об этом думают. А тем, что служить ещё, так и думать нечего.

Ближе к Ханкале видно, что побольше стало войск. По дороге блокпосты из бетонных плит, солдаты за ними в касках и бронежилетах, БМП подальше стоят. Навстречу прошла колонна с бронетранспортёрами – видно, что из ремонта. И следом большая колонна армейцев: МТЛБ и «саушки». Гаубицы откуда-то бьют и вертолёты над головой постоянно летают, армейские и взвэшные – с белым кольцом на хвосте. Уже и колонны из других полков присоединяются. Боевая техника в голову и хвост съезжается, а грузовики становятся в середину большой колонны.

В Ханкале большой строй собрали – смотрят на внешний вид. Форму в полках с начала кампании не меняли, хэбэ на всех линияло, от солнца выгоревшее, затёртое, у кого и с заплатами.

* САУ – самоходная артиллерийская установка.

Многие стоят в грязноватом – особенно в окопах не настираешься, к реке нужно спускаться под прикрытием, а приказ был срочный, рано утром выехать – не все успели постираться. На котором солдате кирзовые сапоги совсем износились, с дырами на голенищах и подметки гуляют. И от вшей многие стоят, чешутся. От этих ещё вшей у формы совсем вида нет – в кипятке её вываривают, камуфлированная окраска становится одного цвета – грязного. Горе смотреть.

Приказано было всем подшиться. Мишень это для снайпера, и где в окопе белую тряпку возьмёшь? Так никто и не подшитый стоит. В Ханкале не такая опасная служба, есть подворотнички в автолавках – времени уже нет. Вот-вот московский генерал прилетит и такое увидит. И журналисты ещё.

Солдаты стоят в строю, с ноги на ногу переминаются, по загорелым лицам пот ручьями льётся и в сапоги стекает. Поодаль офицеры совещаются, толстый офицер отделился, подошёл к строю, ходит, на солдат смотрит, большую голову под кепкой чешет, вернулся к своим. Соображают, что делать: убрать их совсем от греха подальше, или не убирать. И если убрать, что делать тогда? Одни от этих солдат всегда проблемы.

С вертолётной площадки уже движение началось, бежит худой офицер, руками машет, тоже кричит, чтоб убрали этих солдат. Решили заменить их быстренько другими: писарей из штабной палатки выдернули и согнали ещё, кто на глаза попался, из тех, что в Ханкале служат. Как раз мимо вели солдат на концерт артистов. Эти получше: в новой форме и с белыми подворотничками.

Московский генерал вручил им кресты за отличие второй степени, каждому пожал руку, ска- зал каждому тёплое слово, поблагодарил за службу. Журналисты сняли на камеры новостной сюжет – хорошо получилось. Последним в строю не хватило крестов второй степени, дали первой, предупредили только, чтоб никому не говорили, что у них второй нет.

А тех солдат, что привезли, сводили в столовую, приказали их в бане помыть, но потом не вышло что-то, или забыли. Поели они, отдохнули на кроватях в большой палатке с дощатыми полами, подивились на условия здешней службы. И обратно их в окопы увезли. Одного только солдата в санчасть положили с больными почками: видно, лежал на голой земле, когда ещё не на всех ВОПах землянки вырыли, и застудил.

1–8 ноября 2012

Безбашенный

Недели две уже Безуглов был на выезде. ВОП ему не доверили, а придали на усиление к прапорщику. Так-то Безуглов командир взвода, но прапорщик, конечно, всем управляет. Солдаты его называют – командир, а Безуглов так. Ничего, примерился. Сначала только самолюбие задело. Думает – прапорщик ещё в первую воевал, буду хорошо делать, что нужно. Пока ещё не знал, что нужно, а увлекался то тем, то этим.

Поделили они ночь на две половины. Прапорщик отдал молодому лейтенанту более лёгкую первую смену: «Будем это... так службу нести. Первые полночи ты посты проверяешь, вторую – я. А то это... уснут они, всем тут горло перережут». Хорошо. Так и несут.

Бить солдат Безуглов не решался, а слова на них не действуют – тоже вымотались за день не хуже. Есть дальние посты на пригорках, вроде секретов. Пока на один пост подымишься, на том, что уже был, солдат уснул. Автомат под себя подальше спрячет, ремнём обмотается, руки как-то

обматывает им – пусть режут его, автомат не отдаст. Русский солдат на посту. Летёха, думает, по характеру мягкий, неопытный, не так давно из училища, можно слегка пожимать.

Безуглов отмаялся своё дежурство, разбудил прапорщика, лёг на кровать. Бушлатом накрылся. Провалился в сон и тут же вскочил. Приснилось что-то. Там иной раз такое приснится, чтохватишься во сне за гранату – хорошо, если чеку не выдернешь.

И вокруг как-то странно. Тихо. Обычно пальба отовсюду – привыкаешь к этому. А тут тишина. Даже сова не гугукнет. На соседней «Рапире-7» всю ночь стреляют на каждый шорох – вырезали их что ли? Вызвал по рации «Рапиру» – всё нормально. Вышел из блиндажа. Ночь стоит, небо звёздами усыпано. Сидел, печку топил до утра. Сон и от тепла не берёт, мысли в голову лезут.

С утра он патроны считал на постах и на пункте боепитания, рапорт составлял – комбат требовал. Потом ещё что-то. Пообедал. После обеда взялся с солдатами окопы рыть. Тут уже прапорщик говорит: «Ты это... хватает бойцов тут. А надо нарисовать это... схему огня». Безуглов отдал лопату бойцу, пошёл рисовать схему огня.

ВОП высоко на обрыве, весь как на ладони с окружающих гор. Правда, расстояние от них довольно большое. Безуглов расположился на самом открытом месте, в центре ВОПа, чтоб сектора обстрела были лучше видны. Сидит в складном кресле, наносит на схему ориентиры. Всё, где надо, под линейку, где надо, в цвете. Хорошо получается – в училище они проходили на военной топографии. Жарко. Весна ещё, а солнце палит как летом. И так его, конечно, в сон и сморило.

А Безуглов носил тёмные очки. Посмотрел, наверное, американский фильм про Вьетнам и думал, что и у нас это будет неплохо в Чечне. Когда схему рисовал, очки сдвинул на лоб. Решил передохнуть, откинулся на спинку, очки на глаза сдвинул и уснул. Со стороны посмотришь – сидит лейтенант в кресле. Будто бы обзрывает, как солдаты роют окопы. И тут начинается обстрел ВОПа.

Полоснули из автомата. И потом как будто из пулемёта. И одиночными: туф, туф. Пуля ударила во что-то деревянное, другая срикошетила – взвизгнула. Все в окопы хлынули, головы попрытали, надели кто каски. Война идёт настоящая. БМП из пушки во все стороны горы прочёсывает. Грохот стоит. Солдаты лупят из автоматов куда попало. Безуглов сидит в кресле в тёмных очках. Вид у него спокойный и невозмутимый.

Всего минут пять-десять это длилось. Может, чуть больше – там не поймёшь. БМП в горы один БК* выбросила, чеченцы больше не стреляют, прапорщик дал отбой. Безуглов от тишины проснулся, очки на лоб сдвинул. И дальше схему рисует – чего, мол, кипиш подымать из-за пары очередей?

Прапорщик подошёл, внимательно посмотрел на схему, на Безуглова, сказал: «Ты это... всё же не сиди так в открытую». Бойцы потом спрашивают: «Товарищ лейтенант, а вам не страшно было?» Он: «А чего страшного?»

Так он и стал Безбашенным. Солдаты его очень зауважали, даже старались не спать на постах. Прапорщика в скором времени отпустили домой, и Безбашенный самостоятельно командовал ВОПом до конца командировки. Потом он действительно неплохо держался под пулями.

7–15 июля, 12 августа 2013

* БК – боекомплект.

Ирина КАРЕНИНА

От гомеровского пира, драгоценных вин
Что нам? – тесная квартира, винный магазин.
В жизни бедной или праздной захлестнет тоской,
Теллурическим маразмом, мерзостью людской.
И глядишь с античной мукой в мира суету,
Олимпийской полон скукой, с горечью во рту.

оставь мне дождь, оставь мне темноту,
рассветный бред – как гибель на посту,
сквозь бытие, затертое до дыр,
я с двух сторон гляжу на этот мир,
с двух граней – света, зеркала, стекла,
с кружения то решки, то орла,
с дождя, рассвета, мутной головы
твержу: планета, я иду на вы,
на вы иду, на «вы» весь мир зову..
зубами хапнув неба синеву,
вишу – щенок на vareжке, дурак.

не бей под ребра – отпущу и так.

В земле морозной ноги яблонь стыннут,
Колхозный сад объемлет снегопад,
Иди в него, в его покой пустынный –
Здесь рай, где ты ни в чем не виноват,
Седьмое небо в проволочной сетке,
Здесь брошенный шалаш сугробом скрыт,
И яблоко последнее на ветке
В слезах, оледеневшее, висит.

Ирина Каренина родилась в Нижнем Тагиле. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Автор пяти книг стихов. Стипендиат Министерства культуры РФ, лауреат премии журнала «Знамя» (2011). В настоящее время живет в Минске, работает редактором информационного агентства.

«Светит нам звездочка-негасимка...»

Так дети играют в детском саду:

– Я невидимка! – Нет, видимка!

– Ты не найдешь меня! – Нет, найду!

Раз-два-три, водит... нас жизнь по кругу.

Дурочка, жмурочка, топ да хлоп.

И, чтоб не страшно, себя за руку –

И в этот миг расшибаешь лоб.

сказочка-сказочка мы в гостях
незабудки цветут на наших костях
наши звонкие бусики динь-динь-динь
серебристое ложе трава полынь
губы в губы дареный мед
кто к тебе из травы встает
губы мятные с холодком
наперстянка под языком

Подуй-ка в дудочку мою,
Тростинка, чуткая Сиринга!
Я воздух Греции пою
И вздох вина в нелепой кринке,
Эгейской амфоре лепной,
Так схожей формою со мной –
Очеловеченной, прогретой
На ржавом солнце, на песке
Античного живого лета,
Мячом лежащего в руке:
Вот разбежусь, метну с размаха
И сквозь прибой за ним рвану,
Забыв, что тело – горстка праха
И черепком идет ко дну.

Сергей СЛЕПУХИН

Есть просветленная усталость
в осеннем небе над рекой,
казалось бы, в душе смеркалось,
но вечный наступил покой.
Так бирюзой течет высоко,
переполняя близь и даль,
оттаившее Божье око,
прозрачной мудрости печаль...

«Прислонись к стеклу», – приучал Кенжеев,
Двадцать лет назад был разбег легок,
Ветерок узелком – лебединой шее,
Херувима крылышко – под локоток.

Что такое, скажи, приключилось с нами,
По непрочным швам расползлось, разошлось.
Устрашенная речь – в застекленной раме,
Укрощенные мысли – с мечтою врозь.

И куда забросило нас сновидение,
В нерв иглой нечаянно уколов?
Полустертых снов горловое пение,
Водяные знаки размытых слов.

Належке убегали деревья,
Птицы перья теряли в нырке
И тигриной вибриссой Ниневия
Смерть ловила в речном холодке.

Сергей Слепухин родился в 1961 г. Окончил Свердловский медицинский институт, аспирантуру при кафедре физиологии человека. Публикации в журналах «Звезда», «Уральская новь», «Арион», «Знамя», «Новый берег», «Крещатик», «Волга», «Дети Ра», «Белый ворон», «День и Ночь», «Новый журнал», «Интерпоэзия» и др. Автор книг стихов «Слава богу, сегодня пятница!» (Екатеринбург, 2000), «Осенний покров» (Санкт-Петербург, 2003), «Вода и пряжа» (Екатеринбург, 2005), «Прощай, Парезия» (Екатеринбург, 2007), «Задержка дыхания» (Екатеринбург, 2009), «Дотла забывать» (США, 2011), «Послесвеченье» (США, 2013), а также книг эссе совместно с М. Огарковой – «Новые карты Аида» (США, 2009), «Перья и крылья» (США, 2010).

Погружалась в песок желтолицый
Обожженной ступнею заря,
Задыхались рабы колесницы,
Три плененных эламских царя.

Да сияет наместник Ашшура,
Полыхает Шамаш-шум-укин,
Пахнет зверем пятнистая шкура,
На плечах побежденных равнин!

И губами шевелит багрово,
Брызжа кровью на жадный песок,
Царь вселенной, бог мертвого слова,
Пожирая глазами Восток.

Волнение потной струйкою бежало,
Влюбленных птиц плескалась болтовня,
И ты, прильнув, нечаянно нажала
Шептало одиночного огня.

Отрывочное: зрак луны яичной,
В желтке кипит внутриутробный зной,
И все течет по ямке подключичной
Желание, надышанное мной...

Я попал к ангелам и запел.
Наркотики,
разноцветные шевелюры,
пьянки.

Мы кидались камнями в соседских детей,
лазили по крышам и,
стоя на коленях
под сводами местной церкви,
вместо молитв
вышёптывали Deep Purple.

Се флэшбэк:
сюжетная линия прерывается, чтоб
зритель наблюдал
якобы происходившее.

Высидевшая смерть,
всегда обращаешься в слух.

Записные тетради

Говорить о живом человеке дурное можно – если, конечно, и в самом деле заслуживает. Когда же человек – несовершеннолетний ребенок, то допустимо и в глаза сообщить, поскольку тут, надо понимать, не оценка, а рассудочная цель и прямой раздел педагогики, и если ребеночек от рождения краснощекий ангел и херувим, и глазки у него твои, то не всех же дел любоваться на щеки и прицеливаться к пухлым ногам – как бы поцеловать. Краснощекий ангел и херувим – это не век, а в последнем допущении от двух до пяти, то есть глазом моргнуть. Дальше уже такие материя и дух, что может быть, конечно, и ангел, и крылья от лопаток, и щеки – что Первое мая, а все же для будущего смысла не мешает сказать: «Ах ты дрянь маленькая!» – повод всегда есть.

«Дрянь» – это очень сильно. Не так, как будет для человека пожившего, но все равно – сильно до слез. Поэтому если в запасе другое колкое слово, то намного лучше без «дряни», а с выходом для самолюбия – чтоб не насквозь.

Другая дидактическая идея – ткнуть в высокий образец или сравнение в пользу друга или подружки: вот ведь, смотри, дети как дети, а ты? Это ужасно грустно такое выслушивать, и надо самому быть дрянью, чтобы так сравнивать, если делается без цели; это, если хорошенько вглядеться, выходит та же сквозная «дрянь» без лазейки, только другим способом, и, может быть, еще больше прибывает.

Сравнение с другом тогда попадание в цель, когда заставит тянуться. Даже если друг – Додя со второго, хотя, в сторону сказать, какой из него друг, когда они своего мопса чаще выгуливают, чем с Додей во дворе встретиться – с мамой за ручку и в пенсионном костюмчике, который висит? Тут же еще и внешне семейная, хоть он об этих вещах пока не понимает, – никто ему пока не разъяснил, в чем тут дело. Считается – всему свое время. Жалко, конечно, пацана, но тут уж как есть.

Додя у них поздний, по годам мог бы быть внуком.

А подруга, Элеонора из тридцать пятого, – чумная: махаона марлевым сачком бьет, и все теплое время земля под ногтями. Но эта хотя бы физическим воздухом живет и головой светленькая – в отношении волос. Эту хоть в куклу одевать заботятся, притом что ее хоть одевай, хоть совсем не одевай.

И вот про чахоточного этого Додю с Элеоноркой и заводишь: дети как дети, а на себя посмотри...

...Ранить словом, но и лечить словом. И прохладным словом на рану дуть: на одну «паршивую дрянь» десять «умниц» и «смышленишей». Двадцать «умниц» и «смышленишей». Сказать, что понимаешь, как это плохо – без мамы, как беспомощно. И поднять голос до искренности...

Олег Сон родился в 1958 году в Одессе. Закончил художественно-графический факультет Одесского государственного педагогического института (1982). В 2005 год в издательстве «Печатный дом» вышла книга стихов «Другие строфы».

В совершенные годы краснота щек и пухлые ножки уже не то, вокруг чего вертись, как бы поцеловать. А то, что выдавалось крыльями, правильно спрятать и не показывать: на таких не то что херувимом – с табуретки убьешься.

Додя – виртуоз на струнах с французской медалью на ленте, и даже из семейной его внешности что-то такое неслышно выросло, чего не было, и от этого, когда однажды взгляделся, комок в горле. А про Элеонорку очерк в «Вечерке»: за косы, пишут, девку от бинокюля не оторвешь. Какие косы? У этой «девки», между прочим, уже своя девка, и тоже чумная. Крылья...

Отчего же притягивает планетарное небо, на котором ни детского друга, ни подружки с черными полумесяцами, ни слюнявого соседского мопса, ни зонтичной травы с махаоном, ни двора, ни дерева с тенью, и птицы только в нижнем слое, а выше погибнут? Ночью хоть звезды на темноте, и хоть, если не спится, есть на что глядеть, но ведь и серым днем душу вытягивает... Отчего? Оттого что перегнули и сильно прибили, – оттого-то и тоскуешь, задрал глаза. Ужасно скучно.

Кто-то, положим, своего и гнул, и «дряню» прибывал больше нужного, потому что кто-то – не Ян Амос Коменский и не Песталоцци, и до Ушинского ему в основном как до Луны, но ведь и Додю, можно не ошибаясь сказать, не ушинские прибывали же? Элеонорка другой росла. Такую, прежде чем гнуть, отмой сначала. А Додю, надо думать, прибывали. Не «дряню» в детское самолюбие – до слез, а целенаправленным Ойстрахом – за то, что из одного города и тоже Давид. И фотографию с пластинки – в латунную рамочку. Над часами. И каждый день, до коричневой мозоли, – годы. А это ужасно грустно, когда Давидом Федоровичем тычут: а ты-то чего?

Выходит, дело не в дидактической идее: прибить Додю прибили, а крылья таки выросли!

Крепко Додю прибили: раз в два года покажет лицо – радость. А там, где он, может быть, уже решил, что насовсем, а домой – в гости, там у него кто ж знает, отчего четыре его струны тоскуют – так, что комок в горле? Это правда: комок в горле... Скучно.

Один – мсье, другая девку с сачком растит, а у кого-то, между прочим, на диване херувим совершенных лет. С поросшими щеками и пухлыми ножками. А самое бьющее: глазенки у херувима – факсимильная копия с твоих. Цвет, и разрезаны одной формой, и белок с прожилкой.

Теперь тупо говорить: смотри на Додю. Теперь смотри не смотри.

А на Элеонорку – не поздно и теперь. Халат и бинокляр – это, при всем уважении, не струной до красных глаз доводить. И отметка в «Вечерке» – не медаль с рукопожатием от благодарной Пятой республики.

Ноги у херувима не от кушанья, а оттого что диван любит. Диван – ногами к окну. Весь день лежи лицом в небо. Из-под заросли щек не видно. И тут же с ним записная тетрадь.

Может быть, дидактика еще свое и отыграет. Может быть, херувим такую тетрадь вылежит, что в его краснощекую фотографию детей носом тыкать начнут... Элеонорка девку свою тыкать начнет.

Тут и вспомнят кое-кого и наведут строчкой. Про Ушинского тоже не в один день город заговорил: «Новый Песталоцци!» – про Константина Дмитриевича.

Элеоноркина девка из шестого в седьмой переходила, когда кое-кому стало ясно: оттереть, отобрать сачок и морилку и одеть куклой. Глаз не оторвешь. Головка светленькая – в мать. Кое у кого, между прочим, тоже была тетрадь, и тоже в небо глядел. Все нутро до последнего вытягивало. А выходит, что не до последнего, раз и до сих пор тянет. Значит, есть что еще вытягивать. И твердая тетрадка по сегодняшнее время ведется. Херувиму о ней знать не обязательно.

Вчера про Додиных стариков писалось. В кухне. Вот кого жалко: крылья дали, рассчитывали, что обоих к себе вывезет, – не вывез. Внуков не делает. Жалко стариков. Мопс когда еще сдох. Провожали втроем – их двое и Элеонорка (не упустила пореветь). А Доди не было, его тогда как раз и начали вывозить.

У Доди с мопсом не все складывалось. Додя мозоль себе натирал перед портретом тезки, а мопс или по двору на своих кривых – а Додина мама за ним, или главным образом сопит на натуральном ковре.

Может быть, хорошо, что с мопсом без Доди уладили. Правильно. А Элеонорка ручьем ревели. Чумная: махаона заморить – весело, а чужой мопс умер от старости – грустно...

Ужасно грустно.

Херувим не выходит из дому. Кто его знает, о чем его тетрадь. Он с ней ест и спит. Тяжело понять, когда он спит, а когда нет. Когда глаза открыты, раз в полчаса царапнет в тетрадь – и снова в окно, в небо. Раз в полчаса шевелит ногой, редко обеими. Нехорошо ему.

А небо хорошее. Из кухни окно смотрит в ту же сторону. Половина осени. Небо молочно-серое. И ничего в нем нет, а глаз не оторвешь – не хочется. Хорошее небо. Грустное только.

Вы ко мне писали...

Бывают дни, о которых ничего не скажешь, и вся эта неделя от самого понедельника до вчерашнего вечера, когда по пути с работы домой я стянул с руки перчатку и на полторы фаланги засунул мизинец в смотровое отверстие почтового ящика, тому подтверждение. Не беда и даже разумно, если бессодержательное время служит передышке: слабенькая мысль без смены направления, желтый чай, ситуация в стране и за ее пределами с тактом музыки между количеством побитых землетрясением и два – ноль в пользу гостей, книга в отвечающей обложке, которую в другое время не стал бы читать (а ведь не подарили же, зачем-то же ее купил!), – все это не так ужасно, а стало быть, почему нет? Но если это не день, а два дня, и три, и четыре... Будем говорить начистоту: в такие дни смотришь на жизнь странно улыбаясь.

Вчера, отужинав, я вскрыл конверт с Вашим письмом, поправил свет лампы и погрузился в чтение. Закончив – глубоко задумался. О чем? Вообще говоря, Вы должны это знать не хуже меня, но почему не сказать? В Вашем письме я насчитал ни много ни мало двенадцать «а если?». Счет в отличие от письма никогда не был моей сильной стороной, поэтому я, водя ногтем по бумаге, сосчитал еще раз. Ровно двенадцать! В душе родилось странное чувство, похожее на то, когда из ничего возникает мысль, что за чем-то что-то стоит, но не понимаешь не только что стоит, но и за чем, и это не может устраивать... я бессилиен выразиться точнее. Что может быть на свете хуже бессилия? Я старше Вас всего на несколько лет, а кажется, что, по меньшей мере, на четверть века, и вопреки известному правилу разница в возрасте между нами увеличивается с каждым годом. Что ж, судьба расставляет людей во времени так, как сочтет нужным... Но не будем отвлекаться. В одном письме целых двенадцать «а если?», одно «быть может?» (о нем я обязательно выскажусь ниже), и одно «что, если бы вдруг?», которое я, признаться, не совсем понял.

Вы пишете: «Лица людей». В этом месте Вы словно бы берете долгую (я бы сказал – чувственно долгую) паузу. И вдруг – выстреливаете: «Человеческое лицо!»

Я хорошо знаю каждый нажим вашего убористого письма, каждый его удар – убедительный или вследствие досадной случайности. За всяким движением беглых пальцев я угадываю непроизвольные движения Вашего лица: движение детской кожи на острых скулах, микроскопическую

морщинку у левого глаза – того, что без фокуса, приоткрытие рта. Думаете, мне не хочется вместе с Вами воскликнуть с внезапным порывом: «Человеческое лицо!»? Нет? Хорошо же Вы обо мне думаете! И отчего Вы не допускаете, что мысль податься вперед и произнести эти слова на выдохе не колола меня задолго до того, как пришла к Вам? Но где было взять нужную силу? Да и потом, у человеческого лица две стороны: наружная бывает лучше или хуже, внутренняя – это всегда ужас что (я берег эту фразу для постскриптума, но почему не выложить ее просто сейчас?).

Странное дело! Уже в следующем после «человеческого лица» абзаце Вы пишете: «Я не хочу!» Вы пишете это с такою простотой и силой, словно я до этого не говорил Вам: «Возьмемся за руки и спустимся с небес на нашу грешную землю». Получается, что моих слов как бы и не было... Но вот что настораживает куда больше: откуда в Вас столько восклицательных знаков? Что-то (как бы Вы к этому ни относились, я люблю и никогда ни на что не променяю это «что-то»!) подсказывает мне, что знаки вопроса и восклицания – это больше мое, чем Ваше, и я Вам скажу почему: только с ними я перестаю чувствовать слабость собственного голоса. Я принимаю решение в пользу того или другого знака, и меня совершенно не волнует, как я при этом выгляжу, – в отличие от Вашего, мой почерк меня никогда не выдаст.

Вы требуете: «Объясните же наконец, что все это значит?»

...И видите тут вопрос. По мне же тут чрезвычайно много вопросов, из которых Вы складываете один общий – в наивном расчете (если бы я Вас не знал или знал хуже, то непременно спросил бы, чего здесь все-таки больше – безвредной наивности или математического расчета, который я невысоко ценю?), в наивном, повторяю, расчете на то, что я каким-то необыкновенным словом – будто такое есть! – разрешу все Ваши сомнения. Не ответить совсем означало бы обидеть Вас, а я не согласен и не собираюсь становиться Вашим обидчиком, – не понимаю, зачем делать вид, будто для Вас это новость? Значит, что? Руководствуясь логическим чувством, разбить то, что Вы предлагаете мне единым вопросом, и откровенно высказаться по всем пунктам? Но я спрашиваю себя: куда бы нас завел этот разговор?

«Быть может, – пишете Вы с внутренним усилием, какое бывает от перемены в душе, – это все пустое, и за этим ничего нет?» На самом деле Вы так не думаете, я это отлично понимаю! Письменное занятие – обязательная часть моего дня. Я не ставлю себе дисциплинирующую норму – столько-то там слов или знаков, как делают писатели стихов и прозы (иные из них не в шутку гордятся такой постановкой дела и при всяком удобном случае подают норму как преданность ремеслу без опоры на капризное вдохновение). В один день я могу выжать из себя одно-единственное слово (возможно, даже с тем, чтобы завтра с легким чувством вычеркнуть его), в другой – эмоционально окрашенное письмо на два тетрадных листа. «Пустое» или нет, – что вместо этого? Часть дня без дрожи и удивления, когда ничто не шепчет о том, что наступило время сесть прямо, отвинтить колпачок авторучки и обнажить перо? Еще один час (в моем случае это два часа) дневного сна на правом боку? Разводь стены? Память? Что из этого выйдет? Зачем это? Слишком много вопросов! Одно лишь знаю: надо, чтобы все оставалось как есть, а если что-то и требует косметического уточнения, то уж, конечно, не по причине психологического сомнения, пришедшего из той части сознания, которую правильно будет назвать его задворками. Сомнения от перемены в душе (от чего же еще?) возникали и, будьте уверены, возникнут еще не раз. К сожалению, да! Однако есть много способов оградить себя от их влияния. Я нарочно не стану советовать, какой способ лучше. Если бы я был уверен, что это что-то даст, я бы, пожалуй, и рискнул, но я-то как раз уверен в том, что это ничего не даст: в таких делах каждый сам за себя, притом даже, что это звучит как нежелание протянуть руку помощи или – что тоже бывает важным – подставить плечо, когда дело принимает серьезный оборот. Я говорю то, что считаю нужным: есть

много способов ударить сомнение в его самое больное место, выговорить во всю ширину рта: «Ты так? А я так!», правдами и неправдами вынудить его принять твои правила игры, чего ему менее всего хочется, – на этом Вы должны сосредоточить свои мысли. А другое вот что. Нужно научиться из всего делать выводы. Не то чтоб без них было плохо, вот уж ничуть! Но что поделаешь? Независимо от того, приятно нам это или нет, учиться нужно, я в это верю. Вопрос лишь в том, чего мы ждем от вывода? точности или надежности? Жизнь предписывает держаться подальше от математической точности, где положительное и отрицательное никак не привязано к хорошему и дурному, что противно здравому смыслу. Остается второе. Надежность. Все остальное не имеет особого значения – со временем оно улетучится. Время идет и идет. Это даже не закон природы, потому что где тут, строго спрашивая, закон? В чем его пафос? Время идет и идет – я понял это намного лучше тех, кто берется думать об этом специально (сам я об этом размышляю редко, и всегда оттолкнувшись от какой-то другой мысли). Да, мы не можем вычеркнуть ход времени из своей жизни, как с легким чувством вычеркиваем из письма слово, которому и сами не верим, хотя и такое слово бывает жалко, но в том-то и штука, что тут – жалко, а там – не можем. Это долго объяснять. И хорошо, что долго. Ведь именно из-за того, что спешим объяснить, выходит, будто время – это горизонтальная прямая со стрелкой на конце, то есть на одно объяснение две нелепости: во-первых – что прямая, во-вторых – откуда вдруг стрелка? У времени три стрелки: секундная, минутная и короткая часовая. А стрелка на конце горизонтальной прямой – это все равно как если бы время было тоннелем, свет в конце которого, как бы нас в том ни убеждали, не самое великое счастье узреть. Но как не видеть, что именно сам тоннель – это и есть ряды разноцветных мигающих лампочек вдоль стен и ряд ламп по потолку (эти не мигают, а горят ровным золотистым светом, который не получишь электрическим током или горением газа) и лампочки снизу, а в конце – где выходное отверстие, указанное стрелкой (пожалуйста, пусть будет стрелка, если без нее Вы теряетесь и не можете отличить вход от выхода), – тут-то как раз бесцветная пустота без вкуса и запаха. Тут-то как раз уже не живое человеческое лицо, а лицо без красок, не «быть может» и не перемена в душе, а подлинно пустое, и никаких «а если?» и «что, если бы вдруг?», и Вы это превосходно сумеете понять, если уже первым надежным выводом станет отказ от манеры из пустякового сомнения выстраивать капитальное здание, в котором Вам же после и жить. Хотите Вы жить в таком здании? Хотите из каждого нового сомнения брать материал для пристройки? Тенью с приоткрытым ртом бродить по коридорам и кричать: «Люди, ау!»? Если Вы этого не хотите, то я тем более.

Я слишком разговорился, не находите? Умолкаю. Письменное занятие – это не только слова (с нормой или когда как выйдет), но и умение поставить точку. Но почему нужно исходить из того, что точка ни в коем случае не есть многоточие?..

Как бы то ни было, умолкаю еще раз. Надолго или нет – зависит от Вас. Я же умолкаю.

Николай Степанович

Послушать людей, Николай Степанович – человек «средний». Понимать это можно так, что человек он не слишком хороший. Но ведь можно и так: если всех мужчин, проживающих в одном с ним районе, предварительно сосчитав, сложить, а полученную сумму разделить на изначальное их количество, то как раз и получится Николай Степанович.

Это если слушать людей.

Людей, которые могли бы что-то сказать о Николае Степановиче, можно сосчитать по пальцам одной руки. Это сосед сверху Петруша Колесников, сестра Ляля, которая живет своей семьей, и еще пара-тройка сослуживцев. Николай Степанович знает: заговори они о том, какой он есть человек, все начнут вспоминать и приводить разное, но придут к одному и тому же.

А вот какой он, Николай Степанович, на самом деле, не знает никто, потому что мало ли кто к чему пришел и что сказал – важно самому понять, кто ты есть. Для этого, считает Николай Степанович, не так много нужно: нужна цель – она ему видится достаточно ясно – и нужно знать, как к этой цели двигаться.

Николай Степанович знает: человеческое «я» – это такой предмет, что нащупывать его лучше всего сидя, а самое подходящее время для этого – вечер пятницы.

Сиденье дивана (это старенький диван-кровать, когда-то давно на нем спала его сестра Ляля) имеет наклон к спинке, к тому же оно продавленное, поэтому сидеть лучше на самом краешке. Придиванный столик должен быть низким, – ничего, что локти при этом упрутся в колени. Низкого столика у Николая Степановича нет, у него есть кухонный табурет, который он по пятницам накрывает чистым кухонным полотенцем, – места в самый раз для пепельницы, пачки сигарет, поллитровки, рюмки и блюда с закуской. Водка – это, конечно, для такого дела кому сколько нужно: кому-то нужно очень много, кому-то мало, но среднему человеку требуется пол-литра. Закуска должна быть простая, иначе в голову – не успеешь моргнуть глазом – ползут пустяки, а попроси их оттуда, освободившееся место займут другие, и еще неизвестно, какие досадней – первые или вторые. Пепельниц у Николая Степановича две. Одна – маленькая, в виде турецкой туфельки с загнутым носком, – подарок сестры на тридцатипятилетие, точнее, часть подарка – были еще букет цветов, две пол-литровые бутылки чистого спирта и немецкая реверсивная отвертка с удобной рукояткой. Другая – большая и круглая, с высокими краями. Николай Степанович выбирает ту, что с высокими краями, купленную вскоре после того, как предыдущая, служившая ему многие годы, выскользнула из рук, стукнулась об пол и разлетелась по кухне сотней осколков.

Все это – сидение на краешке дивана, сервированный табурет, водка, пепельница, полная до краев, – все это очень похоже на то, когда в пятницу вечером сидишь и думаешь ни о чем, но разница существенная: одно дело сидеть и бездумно выпивать, другое – пытаться проникнуть внутрь себя с целью понять, кто ты есть.

Когда все готово, Николай Степанович садится на диван, обеими руками приглаживает волосы, придвигает табурет, берет запотевшую бутылку и отдирает акцизную марку. Всякий раз, когда Николай Степанович отдирает акцизную марку, охватывающую металлический колпачок, он думает о том, что отдирать ее лучше до того, какставишь бутылку в холодильник. Он думает об этом всякий раз, и всякий раз забывает это сделать, и теперь ему приходится иметь дело с влажными и липкими кусочками бумаги; он складывает их липкой стороной вовнутрь и бросает в пепельницу, а испачканные размокшим клеем подушечки большого и указательного пальцев вытирает о край кухонного полотенца. Тем же краем кухонного полотенца он насухо протирает металлический колпачок, после чего сворачивает его движением против часовой стрелки.

В ту же секунду раздается стук в дверь. Это Петруша Колесников, сосед сверху. Он стучит условным стуком, хотя нужды в этом нет никакой. В руках у Петруши эмалированная кастрюлька, накрытая крышкой.

– Голубцовичи! – он приподнимает и опускает кастрюльку так, точно взвешивает ее.

На ногах у Петруши домашние шлепанцы – чтобы не разуваться. Гостиных тапочек у Николая Степановича нет, а сидеть в носках Петруша считает ниже своего достоинства, тем более носки

у него выглядят не очень. Петруша мелко смеется и идет в кухню. Там он ставит кастрюльку на большой огонь и достает из шкафчика две тарелки и рюмку.

– Помочь? – спрашивает он Николая Степановича.

Он знает, что Николаю Степановичу его помощь не нужна: в одну руку поллитровка и рюмка, в другую блюдце с закуской, сигареты в карман, пепельница и табурет – второй ходкой. Петруша управился бы в одну ходку, но если кому-то проще в две, пусть будет две.

Петруша поднимает крышку – от голубцов идет пар. Николай Степанович достает ножи и вилки. Они садятся – Петруша на стул, Николай Степанович на табурет.

– А что если мы выпьем? – говорит Петруша и мелко смеется.

Николай Степанович отвечает ему полуулыбкой.

Они выпивают. Голубцов по шесть штук на брата и еще что-то на блюдецке, а водки на двоих пол-литра, но Николай Степанович знает: беспокоиться не о чем, когда водка кончится, Петруша достанет новую бутылку, вон ее горлышко – торчит из внутреннего кармана пиджака, который Петруша снял сразу после того, как поставил кастрюльку на огонь, он снял пиджак и повесил его на спинку стула. Николай Степанович всегда уступает стул Петруше, потому что у того «позвоночник», а это такая невеселая штука, что один час на табурете – и боль на весь вечер, и никакая водка ее не снимет – хоть растирай, хоть вовнутрь. «Плата за прямохождение», – говорит Петруша, и Николай Степанович кивает с пониманием, у него у самого «позвоночник», но уже после двухсот пятидесяти ему что стул, что табурет, – видно, так устроен его организм. Петруша Колесников о чем-то говорит, он видит, что Николай Степанович его совсем не слушает, но он не обижается, потому что знает: сосед не на шутку увлечен поисками своего «я» и только поэтому никого не видит и ничего не слышит, а так он, если призадуматься, мужик – в том понимании, что если пришла охота с кем-нибудь посидеть – вполне, у Петруши Колесникова и в мыслях нет обижаться, не так давно он сам через все это прошел, все это, как говорится, свежо в памяти, и если бы, допустим, Николай Степанович знал, чего ему, Пете Колесникову, Петруше, это стоило, во что ему и его близким это его «я» обошлось, то он бы, надо думать, в такое дело не лез. Николай Степанович пьет и закусывает. Капуста жилистая, а нож тупой, надо бы поточить, думает он, у него есть очень хороший точильный брусок – грубый с одной стороны и тонкий, для правки, с другой. Брусок этот подарил ему Сергей Анатольевич, муж Ляли, Николай Степанович хранит брусок в одном ящике с немецкой реверсивной отверткой, там еще много чего: говорящие часы, газовая зажигалка-пистолет, обложка для книг, брелоки – четыре или пять штук, завтра и поточу, думает Николай Степанович, сегодня пятница, завтра суббота, вот завтра и поточу, а то ни одного острого ножа. Он жует голубец, и в голову его лезут пустяки, но Николаю Степановичу они сейчас таковыми не кажутся, и если ему даже прямо сказать: «Брось ты, Степаныч, думать о пустяках!» – он не бросит, а отложит вилку и нож, промакнет губы полотенцем, упрется локтями в столешницу и обхватит голову руками, и не поймешь: оттого он так, что вдруг почувствовал в пустяке огромную важность, которую никто другой увидеть не может, и тогда действительно есть все основания давить локтями кухонный стол и стискивать голову руками, или это одно его упрямство, – а ведь он знал, что так будет, что именно этим все и кончится, знал уже тогда, когда налаживал в комнате табурет, потому что все его попытки нащупать в себе человеческое «я» – не ради того, чтобы убедиться, что оно есть (оно у него есть, не может не быть), а для того, чтобы задать этому «я» пару вопросов, которые давно вертятся в голове, – все эти попытки заканчиваются одним и тем же, они заканчиваются приходом Петруши Колесникова, но ведь настанет же когда-нибудь вечер пятницы, когда Николай Степанович сядет на край дивана, свернет колпачок поллитровки, а его сосед сверху не постучит в дверь, когда никто не постучит в дверь, и никого не

будет, ни Петруши Колесникова, ни Ляли, которая живет своей семьей, старшей сестры, с которой он видится два раза в год – один раз на ее день рождения и один раз на свой, а на дни рождения Сергея Анатольевича, Лялиного мужа, и Таты, племянницы, его не зовут, хотя сами они – Сергей Анатольевич и Тата – ни разу не пропустили его, Николая Степановича, дня рождения, не будет сослуживцев, чьих имен он не знает, а знает только фамилии, и этого довольно, настанет же такой вечер, не может быть, что не настанет, потому что Петруша Колесников – живой человек, существо, которое умеет не только помнить, но и забывать, и он может забыть, что пятница, может заболеть, есть много болезней, не обязательно тяжелых, от одной мысли о которых нижнюю часть души скручивает узлом, болезнь может быть относительно легкой, однако такой, что участковый врач выскажется за постельный режим, и в пятницу вечером Петруша Колесников будет лежать под одеялом и пить чай с малиной, а кроме него к Николаю Степановичу никто не постучится, потому что и сам он уже много лет ни к кому не ходит и не стучится, и он будет сидеть на самом краешке дивана, и его острые локти будут давить колени, и думать он будет до внутренней боли, и в боли этой не будет ничего утешительного и сладкого, потому что думать нужно было раньше, давным-давно, – не о пустяках, о них-то как раз можно подумать и потом, – и он будет прикуривать одну сигарету от другой, и окажется, что он был очень даже прав, выбирая не турецкую туфельку, а большую стеклянную пепельницу с высокими краями, он будет спрашивать себя, кто он есть, и чем больше он будет думать и спрашивать, тем больше ему будет, он спросит себя, а как там Петруша, как он там, у себя наверху, Петруша Колесников, единственный человек, которому еще есть до него дело, а вдруг что-то серьезное, участковый врач говорит, что ничего, мол, страшного, так ведь он и Николаю Степановичу говорит – ничего страшного, он за годы работы такого насмотрелся и наслушался, ему что позвоночник, что из носа течет, что лето, что зима, участок вон какой, когда он на него пришел, было легче, и народ был здоровее, и зарплата врача – относительно тогдашней жизни, и сама тогдашняя жизнь, если брать относительно сегодняшней, в жизни все относительно, думает Николай Степанович, он знает, что про него думают другие, про него думают, что он человек средний, каким-то образом он это знает, хоть и не смог бы объяснить, каким, все они думают, что он человек средний, все – это Петруша, Ляля и пара-тройка сослуживцев, хотя у среднего человека людей, которые думают о нем, наверняка бывает больше, так ведь их и было больше, и они приходили, и стучали в дверь, и звали к себе, звали на дни рождения, и Сергей Анатольевич звал его на свои дни рождения, и, напившись, бил Николая Степановича по плечу огромной ручищей, и говорил ему: «Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй!», и не было в его словах намека на то, что было бы лучше, если б Николай Степанович не приходил, что всем было бы лучше, и Николай Степанович потирал плечо и смеялся, а Ляля подкладывала ему на тарелку, и Сергей Анатольевич, выпив еще, в шутку грозил ему пальцем и повторял: «Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй!», и Николай Степанович смеялся – не только затем, чтобы поддержать шутку, а от всего сердца, и Тата, племянница, смеялась – звонко и хорошо, и от смеха давилась слоеным пирожным, и наливала в большой бокал минеральную воду, и тут все вспоминали, как однажды она вместо минеральной воды налила в свой бокал чистого спирта, который Ляля приносила с работы в бутылках из-под минеральной воды (так его было легче вынести), – налила щедро и выпила залпом добрую треть, и теперь все смеялись, вспоминая, какое у нее было лицо, а больше всех смеялась сама Тата, хотя тогда ей, помнится, было не до смеха, и Ляле, помнится, было не до смеха, потому что Ляля – мать, потому что Тата в то время была ребенком, а неразбавленный спирт для ребенка – и в первую секунду, и потом – не то, что для взрослого, хорошо еще, она выпила не больше трети, налила-то полный бокал, лицо ее сделалось таким, что сперва никто ничего не понял, это потом

все всё поняли и забегали, а в первую секунду все смотрели на Тату и ничего не понимали, первая поняла Ляля и закричала, лицо Таты было обращено ко всем сразу, в ее круглых глазах читалось недоумение, это длилось не долго, уже через секунду недоумение в круглых детских глазах – казалось, они сейчас просто вылезут из орбит, – сменилось ужасом перед действительностью, в которой все относительно, выходит, дядя Коля не врал, когда говорил ей: «Понимаешь, Тата, – говорил дядя Коля, понижая голос, – в этом мире все относительно, к этому нужно относиться серьезно», – она-то всегда думала, что он просто так, а действительность – вот она: вместо сладкой воды – несладкая минеральная, потому что сладкая вода – это отравка, а если хочется сладкого, для этого есть компот, а минеральная вода может оказаться чистым спиртом, папа любит чистый спирт, чистый спирт не отравка, иначе его не называли бы медицинским, а мама не таскала бы его через проходную, рискуя потерять лицо, а на проходной не смотрели бы на это сквозь пальцы, а вот теперь не до смеха Николаю Степановичу, всю неделю ждешь пятницы, неделя – это пять дней, а потом два, а между ними вечер, к которому готовишься заранее, потому что есть цель, есть парочка вопросов, – Николай Степанович – тот Николай Степанович, которого знают другие, ответить на эти вопросы не в состоянии, другое дело – его внутреннее «я», вот кого хочется порасспросить, а там уж как выйдет, никто не говорит, что будет проще, взять хотя бы Петрушу Колесникова, он свое «я» полтора года как нащупал, а проще не стало – ни ему, ни тем, кто рядом, одно стало проще: был Петей, Петром Егоровичем, а теперь вот Петруша, никто не говорит, что вообще что-то будет – не проще, а вообще что-то, может быть внутреннему «я» как раз и хочется, чтобы Николай Степанович выпил с соседом, закусил «голубцовичками» и лег спать, все равно этим кончится – лучше других это знает Петруша Колесников, – «Посидел бы еще, да поздно уже», – говорит Петруша, вообще-то не так уж поздно, можно было бы еще посидеть, завтра суббота, – помыть посуду, прибраться, вернуть Петруше кастрюльку, не вернешь – ему ведь не далеко и самому спуститься, хороший повод, ты, мол, не идешь, так я сам зашел, кастрюльку вернуть первым делом, прибраться можно потом, на рынок тоже потом – можно и в воскресенье, наточить все ножи, а то во всем доме ни одного острого ножа, морозилку глянуть – отчего подтекает, – «Посидел бы еще, да поздно уже», – говорит Петруша и мелко смеется. – «Не так уж поздно», – говорит Николай Степанович.

Николай Степанович складывает грязную посуду в мойку и идет стелить постель. Мысли у него – какие бывают после водки и хорошей закуски. Одно связано с другим, думает он, а что одно и что другое, об этом он почему-то совсем не думает, просто связано, – что-то есть в этом такое, чему нельзя – во всяком случае, трудно – подобрать слова, плохо, что об этом говорится мало, думает он, даже слишком мало, к сожалению, это правда. Он раздевается и ложится. Одно и другое, – продолжает он размышлять, лежа в постели, – но есть и нечто третье: узелок, точка, лежащая на пересечении мысленных линий, – он думает с закрытыми глазами, чувствуя огромную важность своей мысли. Что тут непонятного, что может быть непонятного в точке, точка – нормальное явление, просто невероятно, что он это понимает, а другие – нет, но разве не так с другими его мыслями? Это конечно: кого из нас интересуют чужие мысли – даже если это и в самом деле мысли, – всем известно, что дело обстоит именно так. Получается странная штука: он понимает то, чего другие не понимают, а это совершенно меняет дело; вот и прекрасно; правильно было бы спросить: что они вообще понимают? – думает он, и эта мысль кажется ему настолько хорошей, что все остальное как-то вдруг теряет важность. Что они понимают? – думает Николай Степанович и с этой мыслью проваливается в глубокий сон.

Некрасов Иоанна Божикова

Когда Иоанн Божиков, всем видом показывая, как тяжело ему начать, наконец выдавливает: «Не водись-ка на свете вина, тошен был бы мне свет», – не мешает знать, что до этого размышления он дошел сам, без посторонней помощи, а уже вторым порядком высмотрел в книге.

Книжная мысль крепка, а своя крепче. Когда же к своей – печатное подтверждение, – тут уж человека с мысли не сунешь.

Иоанн Маркович несколько раз открывает и закрывает рот. Выдавливает:

Не водись-ка на свете вина,
Тошен был бы мне свет...

На нем пальто на зимний случай и брюки с пузырями. Под пальто свитер. На ногах тупые ботинки. Голову греет вязаная шапка. Глаза закрыты.

Выдавлив, как тошен был бы свет без вина, Иоанн Божиков замолкает. Теперь за него говорит лицо. Все его ушибленное временем телосложение говорит за него. Колючий кадык говорит.

Жизнь в трезвом положении
Куда нехороша! –

говорит кадык Иоанна Божикова и в доказательство идет вверх, потом вниз. И в глотательном звуке не вязкий секрет слюнных желез, а летучее слово:

В томительном борении
Сама с собой душа...

Подержав время, Иоанн Маркович открывает глаза. Медленно-медленно. Из-под вспухших век выкатываются яблоки глаз – каждое со скорбным зрачком.

Душа волю любит. А человек не слышит. Сам от воли идет. Наливку распробовать – жди полных восемнадцати. Иваси – чаем запей. Смолистый табачок фильтруют, а скоро запретят: ракеткой махать мешает – в штанах выше коленей.

Плакала, говоришь, Саша, как лес вырубали? Дай только топор поострее, а сам в сторону отойди. Саша плакала... Подрубим сосну, арканом нагнем и повалим. И дубняк с корнем – будет где за домом ракеткой размахнуться. И плевать на оползни. И на воду плевать, что из берегов, – Венеция будет. А зайцы пусть сами выкарабкиваются. А кто выберется, того мы из двоянного ствола, а мало – ножом сунем.

Дом, вечер.

Иоанн Божиков курит. До глубины курит – так, что сердце его быстрее живет. Болит, болит грудь Иоанна Божикова.

Лицо, яблоки глаз – каждое с небесно-серым зрачком, подвижный кадык, ну а руки? Разве у рук нет слов?

Другой приговоренного петуха или мельницу в ветер изобразит, а четвертой доли руками не скажет, что Иоанн Божиков одной вялой кистью выговорит.

Человек – высочайший примат, а не бессловесная иваси в коротких штанах. Если кто думает, что певцы не нужны веку, что очень хорошо и удобно и без певцов, – пусть так не думает.

Книжная полка на уровне глаз, – только нужное.

От книги Иоанн Маркович берет деление протяженной мысли на строки. Поднять строку прописной литерой – тоже бывает неглупо.

Книгу надо любить.

Лицо под обложкой надо любить – если издатель на портрет не пожалелся. А кто что ел и чем запивал, чьим интересам прислуживал и сколько раз со сколькими укладывался и бывал ли за это бит, – тут интерес может быть послабее. Кто с кем укладывался – это пускай для закопанных в чужие бумаги или кому по ученой должности.

Когда Иоанн Божиков говорит: «Не водись-ка на свете вина...» – нельзя же не понимать всю сослагательность наклонения его мысли: и вино, слава богу, на свете водится, и в трезвом положении Иоанна Марковича когда в последний раз кто видел, ну ка?

Погодите, повеет весной...

Зелень будет. Женщина с двухлетним ребенком на груди в трамвай – пожалуйста, место. За-йца вот тоже в город пустим. Кто не обзавелся – на взрослые штаны талон выпишем. Курящему человеку спичку в ладонях поднесем: не один век у человека с табаком общий язык...

Заднебоковой лампочный свет скользит по лицу: то же лицо, но вдруг длиннее и тоньше.

Снег.

Иоанн Маркович смотрит в окно.

«Снег идет, – думает Иоанн Маркович, – снег идет...»

Минуты молчания

– Ты бы рассказал что-нибудь, – Вера по-кошачьи потерлась о плечо Павла. – Как тогда, помнишь? Смешно было. Про этого, как его? Как он вот так делает... Хотела рассказать Нине – не получилось.

– Она опять приходила? – нахмурился Павел.

– Ну да... – Вера снова потерлась о плечо мужа. – То есть рассказать получилось, а вот так губами и чтобы носом, как ты показывал, не выходит. Можешь еще показать?

– Казалось бы, не такая большая просьба, – сказала Ада Борисовна.

Мать Веры сидела в кресле Павла. На коленях ее лежала книга в толстом переплете, заложенная пальцем.

– Покажи, – Вера подергала Павла за рукав. – Смешно ведь.

– Нет, Вера. Не сегодня.

Вера надула губки.

– Так трудно?

Павел не ответил.

– Ну тогда Расскажи что-нибудь. Не понимаю, что за радость сидеть и молчать. Слышишь, Паша? Расскажи – и то лучше будет. Не обязательно про этого... как же его...

Павел посмотрел на часы.

– В девять я должен ему звонить, – сказал он. – Напомни, если забуду.

– Было бы хорошо, если бы тебе платили за эти звонки отдельно, – сказала Ада Борисовна.

– Что это за вопросы, которые нельзя решить на работе?

Вера неожиданно рассмеялась:

– Паша, знаешь, на кого ты похож, когда так сидишь и молчишь?

– На кого? – спросила Ада Борисовна.

– Зачем она приходила? – спросил Павел.

– Кто?

– Ну эта твоя.

– Нинка?

– По-моему, я ясно сказал, что не хочу ее видеть.

– Нинку? Так она днем была. Недолго, – Вера водила пальцем по его животу.

Павел убрал руку жены, встал и подошел к окну, одна половина которого была открыта настежь.

Вечер уже наступил. В доме напротив светились окна. Павел глядел прямо перед собой. В метре от его лица покачивалась ветка.

– Ты взрослый человек, Вера, – выдержав паузу, заговорил Павел, – и сама вправе выбирать подруг. Такое право – я, как ты понимаешь, говорю о праве выбора – у тебя было и есть, в этом не приходится сомневаться. – Он затылком чувствовал, что обе женщины внимательно его слушают. – Так вот, Вера, никто и впредь не собирается лишать тебя этого права, во всяком случае, не я. Разумеется, у меня есть свое мнение, и я его от тебя не скрываю. Даже не мнение, а, правильное сказать, требование, хоть я – ты это знаешь – ненавижу это слово...

– Твой муж – интересный человек, – сказала Ада Борисовна.

– Какое требование? – спросила Вера.

– ...И дело не в том, готова ли ты согласиться с моим требованием или нет. Дело, собственно говоря, не в этом... Мы с тобой на многое смотрим по-разному – в отношениях между людьми такое случается чаще, чем ты думаешь. Дело в том, Вера, что ты вообще не слышишь, о чем я говорю. Тебе не кажется это странным?

– Ты это из-за Нинки, да?

Павел обернулся. Вера сидела в углу дивана, подобрав под себя одну ногу, и глядела на него широко открытыми глазами.

– Всякий раз, когда ты видишься с Ниной, я думаю о том, что за этим последует. – Павел изо всех сил старался говорить тихо и сдержанно. – У Нинки что-то такое на бретельках – выше пупа. У Нинки с Севой диагональ на два дюйма больше нашей. Нинка ходит на йогу. У Нинкиного мануальщика – Севиного племянника – золотые руки... Ада Борисовна, вы видели рожу этого племянника?

– Я ведь не ради себя, – сказала Вера.

– А ради кого? Давай честно: была Ирочка, я хоть раз говорил, что не хочу ее видеть?

Брови Ады Борисовны поползли вверх.

– Вера, ты слышишь? Ирочка!

– Мама! – сказала Вера.

– Да, Ирочка! – сказал Павел. – Я хоть раз говорил, чтобы ты ее не приглашала? И где она? Может быть, она сама перестала заходить?

– Нет, нужно было ждать, пока она перенесет сюда вещи, – сказала Ада Борисовна.

Павел досадливо поморщился.

– При чем тут вещи? Надо быть слепым, чтобы не видеть: для Ирочки вещи – ничто. Все, что ей нужно, она носит вот тут, – он ткнул себя пальцем в грудь, – в своей душе. И вот тут, – он постучал пальцем по лбу.

Внимание Павла привлекли голоса соседей внизу. Там что-то происходило. Несколько человек из его дома стояли под сильным электрическим фонарем и о чем-то спорили с председателем

кооператива. Кучерявый парень в оранжевой безрукавке с независимым видом постукивал железным прутом с загнутым концом по носку огромного ботинка и курил.

– Паша, помнишь, что ты говорил про Иру, когда она только появилась у нас? Про то, что у нее вот тут, – Вера повторила последний жест Павла.

Парень в безрукавке отбросил окурок, переложил прут в правую руку и движением головы расчистил пространство вокруг канализационного люка. Соседи нехотя отступили. Парень подцепил крышку крюком и одним движением выдернул ее, так что она с грохотом отлетела в сторону.

– Что я говорил?

– Тебе напомнить? – Ада Борисовна подалась вперед, кресло под ней заскрипело.

Лицо Павла передернулось, словно от резкой боли.

– Первое впечатление часто бывает обманчивым. Кроме того, женщины устроены иначе, чем мужчины...

– Есть хорошая пословица: слово не воробей, – сказала Ада Борисовна.

– Вы думаете, я потом не ругал себя? – Голос Павла внезапно охрип. – Ругал – не то слово... И больше всего за то, что имел глупость пройти по Ирочкиному адресу в вашем присутствии.

– В моем или не моем, – усмехнулась Ада Борисовна, – а никто тебя за язык не тянул.

– Признаться по правде, – все тем же хриплым голосом продолжал Павел, – я до сих пор не понимаю, как вас тогда угораздило передать ей мои слова? Хорошо еще, что она поверила мне, а не вам. И вообще...

– Что? – Ада Борисовна выпрямилась в кресле.

– Я хочу, чтоб вы знали: с тех пор многое изменилось... – Павел замолчал, собираясь с мыслями. – С тех пор многое изменилось, – повторил он. – Как же вышло, что вы со всей вашей проницательностью этого не заметили?

– Что значит – я не заметила? – не поняла Ада Борисовна.

– Паша, хочешь, я тебя насмешу? – сказала Вера. – Представляешь, я почему-то думала, что бонус и премия – одно и то же... представляешь?

– Разница в том, – Ада Борисовна, не меняя тональности, переключилась на новую тему, – что пока одни ждут премию, другие получают бонусы. Нинин Сева...

– Вы знаете, чем занимается Нинин Сева? – грубо перебил ее Павел. – Я вот не знаю. Может быть, вы мне скажете? А заодно объясните, с какой стати я должен меряться с ним или с кем бы то ни было диагоналями? У меня, хочу вам напомнить, есть работа, которая, если уж на то пошло, требует специальных знаний и подготовки, а не одного только умения дешевле купить и дороже продать. У меня есть дом – vyplаченный трехкомнатный кооператив. У меня есть жена, за которую я несу ответственность.

– Иди ко мне, – Вера постучала ладонью по дивану.

– Да, – сказала Ада Борисовна, – иди к Вере.

Некоторое время Павел и Ада Борисовна смотрели друг на друга: Павел – выставив нижнюю челюсть, Ада Борисовна – откинув голову назад.

– Ваша книга, – сказал Павел. – Про что в ней?

Ада Борисовна, не опуская глаз, погладила сине-зеленый коленкор.

– Современный роман, – ответила она, нарочно помедлив. – Хороший роман, не такой, как ты любишь, но очень хороший, так что напрасно ты кривишься.

– Почему вы знаете, что я кривлюсь из-за книги?

– Отличный современный роман, написанный настоящим языком, – продолжала Ада Борисовна, пропустив его слова мимо ушей. – Супружеская пара. И тут как тут молодая девушка: голые

коленки, грудь, чуть-чуть духов и много свободного времени, которое нужно куда-то девать. Короче говоря, вылитая кое-кто...

– И ты это читаешь? – спросила Вера.

Внизу соседи обступили люк. Пришельцев в оранжевых безрукавках было уже трое. Они держались особняком. Парень, который появился раньше других, и еще один, постарше, стояли; третий, маленький, узкоплечий, со светлым ежиком на голове, сидел на корточках и щекотал дворового пса Борьку скатанной в трубку рукавицей. Борька возил хвостом по земле. Павел потянул носом воздух. Пахло канализацией.

Он закрыл окно и задернул штору.

– Ада Борисовна... – было видно, что слова даются ему с трудом. – Будем рассуждать вместе. Если бы мне было нужно что-то такое, о чем вы постоянно прозрачно намекаете, почему бы я был против Нины? У Нины коленки – думаю, вы не станете с этим спорить, – ничуть не хуже Ирочкиных. Про Нинину грудь я вообще не говорю...

– Паша, а почему ты против Нины?

Павел отошел от окна, подхватил за спинку стоявший у стены стул и перенес его ближе к дивану.

– Вера, ты когда-нибудь научишься меня слушать? Пять минут назад я совершенно ясно объяснил, почему мне не нравится Нина...

– Тогда уж знайте оба: мне она тоже не нравится, – сказала Ада Борисовна.

– Нинка не нравится? – Вера с удивлением посмотрела на мать.

– А вот что мне нравится, – Ада Борисовна повернулась к Павлу, – так это то, что Ирочке твоей не пришлось дважды повторять. После того как я застала вас на диване... – она выразительно замолчала.

– Дался вам этот диван! Что, по-вашему, Ада Борисовна, такое диван? Мы что, лежали на нем? Мы сидели!

– Держась за руки, Паша, – сказала Вера.

– Ну и что? Ничего в этом такого не было. Я же не отрицаю самого факта... Подумай сама: если это было плохо, то почему я не попытался представить дело так, будто твоя мать нарочно все выдумала?

– Вера, ты только послушай! – сказала Ада Борисовна.

– И потом, Паша, это ваше молчание...

– Я много раз говорил тебе: есть люди, которые умеют обходиться без слов. Я говорил тебе это?

– Да, но ведь говорил, а не молчал, – возразила Вера.

– Ирочка и я – мы оба принадлежим к этому типу. С этого все и началось. Когда мы так сидели...

Вера подняла голову и откинула со лба прядь волос.

– Паша, давай не будем об этом, – попросила она. – Я больше не могу.

– К тому же, Вера, если ты помнишь, мы не всегда молчали.

– Это не оправдание, – сказала Ада Борисовна.

Павел развернулся, выбросил вперед ноги и, подтянув тело, передвинулся к теще вместе со стулом.

– Кто вам сказал, что я собираюсь оправдываться? Ведь очевидно: что бы я ни сказал, для вас это прозвучит как признание вины. Я знаю, о чем вы думаете...

– Скажите на милость – он знает! – Ада Борисовна скорчила мину.

– Нет, я скажу о другом, я скажу о том, чего вы обе не учли: захоти мы с Ирой где-нибудь встретиться – в каком-нибудь парке, в кафе, где можно спокойно посидеть, – где угодно, – мы бы, поверьте, так и сделали. Причем сделали бы так, что ни вы, Ада Борисовна, ни ты, Вера, – он повернулся к жене, – не заподозрили бы ничего дурного.

Ада Борисовна и Вера переглянулись.

– Это ты так думаешь, – сказала Вера.

– Не думаю, а так оно и было бы. Я ничего не боюсь. Когда мужчина и женщина хотят одного и того же, какая сила может им помешать? Одних подозрений, даже если бы они у кого-то и возникли, мало, нужно еще что-то, а откуда ему взяться? Ириша не тот человек, который станет болтать языком направо и налево, а уж меня-то вы, надеюсь, знаете.

– Пашенька, если бы мы тебя не знали...

Во дворе снова лязгнуло. Павел вздрогнул.

– Ты хотел звонить, – напомнила Ада Борисовна. – Иди звони.

Павел взглянул на часы.

– Недолго, Паша, – попросила Вера. – Глянь, что там во дворе. Закончили?

Павел подошел к окну, отодвинул штору и прижался лбом к стеклу. Парни в безрукавках ушли. Борьки тоже не было видно. Соседи все еще топтались под фонарем.

– Десять минут, – попросила Вера, – ладно?

Павел вышел из комнаты и плотно закрыл за собой дверь.

Окно спальни выходило на северную сторону. Стоя спиной к двери, он осторожно принюхался, убедился, что воздух чистый, и вдохнул его полной грудью.

Телефон стоял на тумбочке, рядом с кроватью. Павел зажег настольную лампу, вернулся к двери и выключил верхний свет. С трубкой в руке сел на край кровати. Нервы его были напряжены.

Придерживая трубку плечом, он снял с руки часы и положил их перед собой. «Десять минут», – приказал он себе. Когда секундная стрелка коснулась двенадцати, он набрал номер. Один неполный гудок – и в трубке зазвучал взволнованный женский голос:

– Кто это?..

Он крепче прижал трубку к уху.

– Это вы, Павел?..

Павел молчал. Он сидел прямо, глаза его были закрыты. На другом конце тоже молчали. «Стена молчания, – подумал Павел. – Вот уж действительно!..» На этом его мысли закончились.

Чувство было такое, будто два молчания встретились и соединились в одно – большое и целое, для которого расстояние ничего не значило. Молчание, которому – Павел лишь недавно настоящему это понял – стоит доверять. Он прижимал трубку к уху и с замиранием впитывал его всем своим существом. Молчание впитывало его. Напряжение уходило.

...Павел открыл глаза. Секундная стрелка, деля время на короткие отрезки, добралась до верхней отметки и ушла на второй круг.

Он кивнул головой и снова закрыл глаза. Девять кругов. Кто-кто, а уж он-то сумеет ими распорядиться. Будьте спокойны...

Тишина, смешанная с чистым воздухом, пьянила. Павел дышал ровно и глубоко. Плечи и голова поднимались и опускались в такт дыханию. Лицо его светилось улыбкой.

УКРАИНСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДАХ МАРИИ ГАЛИНОЙ

Галина КРУК

Поэт, литературовед, переводчик. Родилась (в 1974 году) и живет во Львове, по образованию филолог-медиевист, защитила диссертацию по теме: «Українське низове бароко: поетика стилю і жанру» (2001). Автор нескольких поэтических сборников, лауреат литературных премий, в том числе и международных, стихи переведены на более чем на 15 языков.

Про женщину по имени надежда

шли дожди четыре месяца кряду все дни и ночи,
вытапывая посевы роясь в гнилых плодах,
шли как новобранцы, старательно поливая кусты обочин,
чтоб эта чужая война не кончилась никогда.
и никто из нас точно не знал где лежит фронтовой рубеж,
и не представлял реальный масштаб утрат,
и тогда к нам для поднятия духа
прибилась женщина по имени Надежда,
которая вообще не намеревалась умирать.
у каждого мужика, твердила, своя война
и винтовка в руках, горячая от пальбы,
за которую он готов держаться покуда жив,
а победа – ей все равно с кем, она как шлюха, она
никому не принадлежит.
и мы слушали, как отдаленный гром рокочет в ее гортани,
когда она нам поет странные колыбельные и строевые свои,
и в каждой капле ее слюны, дезинфицирующей раны
была отравя любовь.
потому что у каждой бабы, говорила, она бывает такая любовь,
что бросает ее на колени, забивает ей дуло в рот,
и не убивает. и тогда сквозь нее идут дожди, за ротою рота,
чтобы смыть кров

Марианна КИЯНОВСКАЯ

Поэт, прозаик, переводчик, критик, литературовед. Родилась 1973 году в г. Жовква Львовской области. По образованию филолог (украинистика). Автор нескольких поэтических сборников, стихи и проза переведены на польский, сербский, словенский, русский, белорусский, литовский, английский, немецкий и другие языки. Лауреат международного поэтического фестиваля «Киевские Лавры» и др. Живет в г. Львов.

Из цикла «Вода»

На черных крыльях черных якорей
Трехмерно и почти неразлично
Лежат слова на языке морей.
И даже черный профиль херувима –
На дне, где сонм погибших рыбаей
Уже почти что растворен. Незримо,
поскольку знак снегов и знак полей,
сатир в простенке, легкая терцина –
всё гонит нас в пространства вне дверей.
Сизифов труд – брести неустомимо
По дну, где сонм погибших рыбаей...

Люпин цветет и кличет косаря,
И лето влагой прыскает в затылок...
На дне морском подсолнух желт и пылок –
И где ж ему цвести, как не в морях?

Лишь панночка из желтоватых вод
Полоть осот выходит в огород
Тишком-нишком, но узкие следы
Ведут от рыхлых грядок до воды,

Чтоб летних вечеров ползли обозы
За следом вслед, в болиголов и сныть...
Русалка притаилась у березы –
Ей греет косу ранний луч луны....

Поэт, прозаик, автор нескольких поэтических и прозаических книг. Родилась в 1985 году в Ивано-Франковске, окончила Институт журналистики Киевского Национального Университета. Стипендиат писательского дома в Вентспилсе (Латвия) и программы DAGNY (Краков, Польша). Драматург, сценарист, автор проекта «Видеопоззия/Видеопроза». Живет в Киеве. Стихи переведены на польский, английский, русский, немецкий, французский, шведский языки.

А как липы запахи – тогда-то он и пропал,
молчком, как отец, безвозвратно, как крест с горы,
Незнакомый мужчина телефонную трубку брал,
извиняясь, произносил утешительные слова,
а порой там просто шумела трава,
или суховеи, переговариваясь, раздували свои костры.

Все равно – она думала – не светит ему нигде
то неотвратимое, жгучее, что было с ним у меня.
По веселым морским городам мотая витки недель,
поначалу он не ощутит потерь,
собирая рыбки тени и смех неродных детей,
а потом объявится снова, тихий, как дым без огня.

Ну а он думал так, засыпая среди овощей или незнакомых тел:
вот закат догорит, и пока не придет восход,
мы с ней можем видеть отблеск одних и тех же светил,
где-то там ей на плечи стекают косы, как теплый мёд,
где-то здесь пролегли дороги, и любая из них – вперёд,
и все это счастье сразу, всё скопом и всё – моё.

Пустота еще вызреет, набухнет пылью всех трасс
и наконец взорвется, точно в костре вода –
то ли, когда эти двое по обе стороны ночи проснутся враз,
то ли, когда закончится лето и повиснет в воздухе снег,
то ли, когда она забудет его, как забывают всех,
то ли, когда он вернется, пусть уже и не будет куда.

Просто не было рядом никого, кто бы знал
 как это называется. В воздухе между нами
 потрескивали молнии, трескались швы – и прилив лизал
 побережье, как стая брошенных псов – причал
 облизывает в порту за ушедшими кораблями.
 Осыпались белым деревья в санаториях и ботсадах,
 нагревались трамвайные рельсы и били током,
 в сумерках на качелях смеялись дети, а в вечерних домах
 шли телепередачи, ссоры и прочее – и всё доносилось из окон.
 Случайному прохожему показалось бы – вот уж и день погас,
 а у этих июль, где они застыли, как в стекле пузырьки, всё длится.
 Может, мы и сказали б про невидимый ток и времени скудный запас,
 просто не было слова, что означало бы нас
 и все, что с нами случилось, или могло бы случиться.

Борис ЛИХТЕНФЕЛЬД

Без царя в голове, без царя во главе
под знамёнами чёрными скачущих мыслей,
обречённых, как жизнь, потеряться во мгле,
уклоняясь упрямо от всяческих миссий
с непрямым жезлом, прорастающим в хлыст,
надо всей распирающей мозг дребеденью...
Ни туда, ни сюда: анархист – монархист,
присягнувший на верность царю Берендею!

2012

Две страны

I.
Гирляндия – страна невнятных грёз.
Луна – её столица и царица.
Январский явно ей к лицу мороз –
вся новогодней радостью искрится.

Мудрейшим не прочесть, не разгадать
Гирляндии посуды и посылы...
Когда же к нам она, как благодать,
направит миротворческие силы?

Вуалью образ прикрывает свой,
но не даёт забыть ни на минуту.
Гирляндия всегда над головой –
и победит легко любую смуту.

В ночи немеет разум испокон:
великолепна каждая когорта!
Нагляден в душах нравственный закон,
Гирляндия над крышами простёрта!

Борис Лихтенфельд родился в 1950 г., живет в С.-Петербурге. Публикации в журналах «Обводный канал», «Часы», «Арион», «Волга», «Звезда», «Крещатик», «Нева», «Зинзивер», «Дети Ра», «Слово\Word», антологиях художника Валентина Левитина «В Петербурге мы сойдемся снова...» и «Петербургская поэтическая формация», «Лучшие стихи 2010 года» и др. Автор книг «Путешествие из Петербурга в Москву в изложении Бориса Лихтенфельда» (2000), «Метазой» (2011).

2.

Баландия – страна, где царь и тать
синонимы, то бишь в одном флаконе,
в одном лице – век воли не видать –
в разбое повседневном и в законе.

Затюканный, опущенный народ
Баландии в плену своих традиций
за пайку от начальничьих щедрот
привык на брюхе ползая трудиться.

А за бугром копнуть – везде корысть!
Коварному Нахрапистану глотку
Баландия готова перегрызть
и шорох навести по околотку.

Пусть шестерят пахан и вертухай
в одном лице на стрёме и на страже!
Парашей на весь мир благоухай,
Баландия! Ты круче всех и краше!

2013

Не пишу, а пишу – для души ненасытной пишу –
на бумагу писчую хлеб чернильный крошу –
не крошу, а прошу – у кого-то жалобно клянчу,
грех отчаянья нянчу, на погибель себе ращу –
не ропщу, а ищу – да с обратной, видно, дорожки
склёваны крошки птицами, ноша не по плечу –
не строчу, а кричу – только эхо мне вторит глухо,
и во мглу холодную голос уходит мой –
не пишу, а спешу домой.

2012

Сергей СДОБНОВ

не знал, что это
уснувший дым для них
там по раме
разбрелась вода из нее
кто не вспомнил
там ведь
кончится смелый хлеб
тот еще замысел
и орех покормыш
ребенка речи
послали обратно
с поклоном на встречу
косточкам и ключицам

лучшее липнет к подошве обмылка
поросль |падкой письменности|
свешивается с тетивы
видимое слито: порознь мыло и смысл
как там портной | без иглы на флаге семьи |
замыто топленое и сморщено
отверстие у эмоций концов
сустав получает имя –
отхожие – в сторону
зрение исправляет положение тела

нет

что там о куче
стекла
мороз побит

отвечать отрезанным краем на шаг руки
не жест ли
слюна изо рта
смещает воздуху за
он привык
выпрыгивать
до куска

Сергей Сдобнов родился в 1990 г. в Иваново. Поэт, культуролог. Участник фестивалей верлибра (С-Петербург, Москва), «Стрелка» (Нижний Новгород), «Дебют – Саратов», «Биеналле поэтов» (Москва), М-8 (Вологда), Майского фестиваля молодых поэтов (С-Петербург). Публиковался на сайте «Полутона», в интернет-журнале «TextOnly» и др. Лонг-лист премии «Дебют» (2011, 2012).

Егор МИРНЫЙ

искрят клеммы – повторила катя
голыми не было никого
у любви золотые объятья
всего

в голосе волосы неумелые
переламывается – на вид
возле дыхания тянется белое
до крови

чисто идут обронённые часики
катя запаздывает – поди
перебирает своё участие
в забытых

так же и время когда оно вспомнится
будет сжиматься в ручных головах
прежде чем образует солнечный
провал

выходит из себя или запоя
полный рот сердца или резины
говорит самое простое
смотрит на сына

сыну нехорошо или неясно
по нему плачет электрочайник
кашляют стекловата и теплотрассы
папа не замечает

просто алюминий там всё закапал
далее дсп в пять слоёв сложили
потоптались киборги и арабы
обильно и жирно

Егор Мирный родился 28 декабря 1983 года в городе Мелеуз республики Башкортостан. В 2006 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Роботы и робототехнические системы» (инженер-кибернетик), также обучался по специальности «Авиационное оборудование военных летательных аппаратов», работает на деревообрабатывающем производстве в родном городе Мелеуз. Публикации в журналах «Гвидеон», «Южное Сияние», «Белый ворон», «Новая реальность», на электронных ресурсах «Полутон», «Сетевая словесность» и «45ая параллель». Обладатель малой премии независимой премии «П» (2013), в апреле этого года вышел дебютный сборник стихотворений «На кострах заросшем Плутоне».

растасили кобальтовые мыши
по копчёным бакам и по ковчегам
сёстры меня раз через два слышат
оказываются разобранным чем-то

на скупое горлышко надето
как живое светит и хрустит
маленькая голая надежда
падает в колючие кусты

падают кусты за ними угол
тоже выпадает из всего
продолжая падать друг из друга
все до одного из одного

чуть язык протянешь поворотный
ровные падения трясёт
сунешь голос вынешь подбородок
лампочку продрогшую и всё

остальное длинное стальное
не в подоле мягкие костры
как на вдохе сорванном ладони
влезешь в гору выйдешь из горы

полным недозволенным что брызжет
из тебя окружность влажен сад
бога нет хотя его ты слышишь
видишь во все тайные глаза

Рафаэль МОВСЕЯН

январь. на столе неразбитый стакан.
и хромают часы на короткую стрелку.
мчится жизнь, и покрашенный в красный стоп-кран
отражает на стенку

свой с горбинкою нос. и живые
что-то тише обычного. в небе
тянут ангелы выи –
не найдут мой подброшенный жребий.

вот-вот коснусь. вот-вот жара сомкнется
моя с твоей. квартире неведомек,
что вот оно – полуденное солнце
всегда раскошегаренное в срок.
на всех предметах отпечатки: пальцев
(моих, твоих); дыханья – на окне.
мы шли сюда как нищие скитальцы
на свет ещё не вспыхнувших огней.
и запах твой уже такой знакомый
я воскурю словно фимиам.
реальность, как больной, впадает в кому
и ничего не оставляет нам.

Патрокл

Патрокл видит небо целиком,
а значит – тьма его покрыла очи.
...но будто жив и думает о том,
что этот день его всех дней короче.

Патрокл спит и видит Илион,
который превращается в Патрокла.
и тишина грядет со всех сторон
к нему, недостающему осколку.

Родился 8 апреля 1987 г. в Ереване в семье архитектора-строителя. В 2010 г. окончил Московский государственный лингвистический университет (иняз) по двум специальностям – юрист и переводчик. Публиковался в журнале «Арион». Победитель Всероссийского поэтического конкурса им. Николая Рубцова (2009), финалист поэтического Гала-турнира «Пушкин в Британии» (Лондон, 2013). В настоящее время проживает в г. Долгопрудный (Московская область), работает частным репетитором и является слушателем ВЛК при Литературном институте им. Горького.

Виталий АМУРСКИЙ

СВЕТОСЛУЖИТЕЛЬ

Заметки о К. Бальмонте

I.

Живя относительно недалеко от каких-то памятных мест, зная о них и собираясь обязательно там побывать, увы, не всегда делаешь это скоро. Может быть, именно потому, что в подсознании – это близко. Именно так было у меня не один год с намерением посетить могилу Бальмонта на Старом кладбище в Нуази-ле-Гран, парижском пригороде, до которого от дома на метро добраться нужно было не более минут сорока, а на машине и того меньше...

И вот в один из осенних дней, когда дожди словно решили передохнуть, из-за туч выглянуло нежаркое солнце, я оказался там, после не очень долгих, однако всё же потребовавших усилий, поисков подошёл к серой бетонной раме, внутри которой был насыпан мелкий гравий и рядом с которой возвышался крест и находилась плита с надписью: Constantin Balmont Poète russe 1867–1942...

Могила была в аккуратном виде, чистая, разве что внутри, по краям, зияли тёмные, вызванные временем, сменой погодных условий, трещины.

Вокруг безлюдно.

Со стороны расположенной недалеко церкви раздался удар колокола...

С трудом, но как-то отчётливо в сознании представился день, когда на этом месте ещё зияла открытая земля и, может быть, в воздухе также разлился несколько приглушённый медный звон...

Известный деятель в среде русской эмиграции во Франции, доктор медицины, журналист, писатель Владимир Унковский¹ писал:

«Константин Дмитриевич Бальмонт скончался 23 декабря в Нуази-ле-Гран, под Парижем, где он провёл последние годы. Поэт умер в возрасте 76 лет, от воспаления лёгких.

Одно время Бальмонт находился в клинике по нервным болезням. Жил в большой нужде, как все эмигранты писатели. Помогали ему сердобольные люди.

Близкие друзья собрали деньги на похороны, купили могилу на 30 лет. Поэт похоронен на местном кладбище.

На заупокойной литургии и панихиде – в маленькой местной церкви – присутствовали, кроме вдовы и дочери, очень немногие. Но гроб утонул в цветах.

Дул резкий декабрьский холодный ветер. Дожди, шедшие в канунные дни, затопили могилу и гроб потонул в известковой мутной воде.

Последняя книга Бальмонта, вышедшая в эмиграции – “Ризе единственной”, посвящена России, её природе. В ней автор выявил себя глубоко национальным поэтом...

В 1920 году Бальмонт эмигрировал в Париж, несколько лет пробыл в Капбретоне, куда ежегодно приезжал И. С. Шмелёв. Маститый мастер встречался с поэтом ежедневно и они стали большими друзьями. Вот слова Шмелёва, сказанные мне на днях:

– Бальмонт – национальный поэт, что особенно подчёркивается в его стихах последних годов, начиная с 30-х, когда он поселился в Капбретоне. Мы всегда говорили о России и неповторимых красотах её быта. Экзотика (поэт много путешествовал) отступала перед властным напором всего родного».

К словам И. С. Шмелёва надо внести следующее дополнение: всероссийскую славу создали Бальмонту книги “Горящие здания”, “Горные вершины”, “Птицы в воздухе” и др.

Обладея крупным поэтическим даром, Бальмонт, и об этом нельзя умолчать, являлся одним из вдохновителей русской революции и ярким застрельщиком декадентства, тлетворный яд которого действовал разлагающе на общественные слои.

Отдавая справедливую дань тем его произведениям, которые являются творениями чистого искусства и могут восхищать, рождая чувство красоты, надо осудить те, которые имели политический характер или утверждали упадничество. Нива его поэзии изобилует плевами.

Став эмигрантом, Бальмонт от многих прежних своих установок отказался и в последней изданной им книге, *“Ризе единственной”*, действительно, выявил себя поэтом национальным».

Опубликованная в выходившей при гитлеровских оккупантах газете *«Парижский вестник»*² заметка эта, на мой взгляд, весьма выразительно передала не только общую атмосферу прощания с поэтом в Нуази-ле-Гран, но – и это не менее важно – двойственное отношение к Бальмонту, которое сложилось и укрепилось за многие годы в консервативных слоях российской интеллигенции в эмиграции, признававших в нём незаурядную поэтическую фигуру и, вместе с тем, отвергавших многие его этические и эстетические постулаты.

Безусловно, упомянутые Унковским сборники *«Горящие здания»*, *«Горные вершины»*, *«Птицы в воздухе»* пользовались успехом в России в начале XX века, но всё же самой известной, самой значительной и в известной мере «программной», или, как сказали бы сейчас, «знаковой» его книгой являлась – в заметке не упомянутая (случайно ли?) – *«Будем как Солнце»*...

Да, много стихов Бальмонта были посвящены России, русской природе, но считать их лучшим, что создал он, было бы более чем спорно.

Рецензируя вышедший в Югославии в 1929 году сборник *«В раздвинутой дали»*, – замечу, речь идет именно о том периоде, который, со слов Унковского, особенно ценил Шмелёв³ – чуткий к событиям в литературном мире Георгий Адамович, писал:

«...новая книга Бальмонта называется “В раздвинутой дали”, а в подзаголовке указывается, что это “поэма о России”. Я добросовестно искал в книге поэмы, но, к сожалению, её не нашёл. Помещено в ней множество стихотворений на самые разные темы. В одном упоминается Россия, описывается или, вернее, славится русская природа. Другие стихи никакого отношения к России не имеют.

Общее содержание книги – пантеистическое, как и всегда у Бальмонта: растворение божества в мире. Но не только Бог и природа – одно. Поэт и природа – тоже одно. Бальмонт пишет о зорях и закатах, о луне и звёздах, о ветре и жаре, как о самом себе. Россия для него – одна из частей прекрасного мира – и только:

*Русь, Россия,
Все морские
Все лесные чары в ней,
Полевые,
Луговые
И степные. Ты о ней
Говори
Не умолкая
Вплоть до мая целый год.
Русь такая
Что, сверкая,
Всякий счёт перетечёт...*

Знакомые стихи, как будто уже давно слышанные! Но после всего, что в России случилось – не с русскими реками и лугами, а с Россией, – эти славословия читаешь с недоумением. Всё – прежнее.

Поэт «как ни в чём не бывал». Русь васнецовско-библинская. Можно позавидовать Бальмонту, что у него временное и преходящее имеет так мало значения, и что существует у него только вечное – только природа»⁴.

Вне сомнения, подобное вневременное ощущение мира, своей страны не могло не вызвать сожаление и даже иронию у тех, кто пережил события 1917 года, гражданскую войну, познал вкус хлеба в изгнании... В плане творческом Бальмонт также уже не вписывался в русло новой поэзии, причем не только в Советской России, но и в Зарубежье, где в основной массе читающих, сохраняющих в семейных очагах родной язык, преобладал вкус к классике, но классике, не перешедшей 70-80-е годы XIX-го века, всё написанное позднее вызывало недоверие, сравнения старых и молодых поэтов были, как правило, в пользу первых, Цветаева, не скрывавшая своих симпатий к Маяковскому и Пастернаку, была откровенно чужда, Борис Поплавский маргинален, не говоря уже о таких модернистах, как Зданевич или Шаршун, которых предпочитали относить к поэтам, утратившим связь с отечественной лирой и ставшим почти посторонними...

Между тем, Бальмонт – человек чувствительный, болезненно переживавший потерю былой славы, но не утративший при этом интеллект, любовь к слову, веру в культуру – жил, продолжал творить. Впрочем, дважды упомянутая и названная Унковским «последней» книгой его в эмиграции «Ризе единственной» никогда не выходила, а реально последней прижизненной явилась «Светослужение», изданная в 1937 году в Китае, в харбинском издательстве «Заря». Но о ней речь пойдёт чуть дальше.



Возвращаясь же к прощанию с поэтом в 1942 году, можно отметить: похороны с отпеванием состоялись 26 декабря. До того, как быть перевезённым на кладбище, гроб с телом стоял в маленькой церкви при «Русском доме» – том самом, который в середине 30-х годов как беженский приют организовала мать Мария и где провел последние годы Бальмонт; отпевал усопшего отец Дмитрий Клепинин, чья судьба оказалась схожей с судьбой матери Марии (Пиленко Елизаветы Юрьевны) – в конце войны он погиб в гитлеровском концлагере⁵... Что касается надгробного креста, то он был установлен благодаря личным усилиям писателей, до конца дней сохранивших любовь и уважение к другу, Юргисом Балтрушайтисом (в Париже накануне войны он оказался не эмигрантом, а дипломатом – советником посольства Литвы) и Борисом Зайцевым.

На той же надгробной плите, где указаны имя поэта и годы его жизни, правее можно прочитать: Hélène Balmont 1880–1943. Елена была его (третья) жена, пережившая его менее чем на три месяца... Формально, впрочем, она сохраняла свою девичью фамилию: Цветковская. Таким образом, правильно было бы написать: Hélène Tsvetkovski, ибо ни в одном справочнике Елены Бальмонт – супруги известного поэта – не существует. У Судьбы, впрочем, свои – неведомые нам – законы и прописи. И то, что Цветковская, дочь известного российского генерала К.Г.Цветковского, делившая с мужем все тяготы их общего существования, оказалась посмертно запечатлена именно как Бальмонт, обсуждению, конечно, не подлежит.

2.

Оглядываясь в прожитые годы, восстанавливая по памяти какие-то его вехи и силуэты, вспоминая о Бальмонте, Борис Зайцев констатировал: «Эмиграция прошла для него под знаком упадка. Как поэт он вперёд не шёл, хотя писал очень много. Скорее слабел – лучшие его вещи написаны в России»⁶.

Обратим внимание – не о России, а в России.

Последняя прижизненная книга Бальмонта «Светослужение. 1936. Август. – 1937. Январь. Стихи», в самом деле, не явила собой события, которое могло бы опровергнуть очевидного. В ней много вещей, навеянных тонкими наблюдениями природы и авторскими ощущениями окружающего мира, печальное признание, что лучшие годы жизни позади: «Давно моя жизнь отзвучала, / как бурный, гремучий прилив, / как ласка, кружение бала, / которым я был так счастлив...» и т.п., но нет новизны в строфике, в образах, красивое, но вместе с тем утомляющее ощущение размытости и безвременности.

Как бы там ни было, известно, что получив предложение об издании сборника в Китае, в Харбине, – а предложение это было сделано жившим там издателем Всеволодом Владимировичем Оболяниновым (1882–1968, Нью-Йорк), в семье которого любили и ценили Бальмонта⁷ – поэт, испытывавший душевные и финансовые трудности, приступил к работе с энтузиазмом, ощутил в себе подъём творческой энергии. Никакого «сборника» он, кстати, не хотел.

«Вы всё время говорите “сборник”. Но всё дело в том и есть, что «Светослужение» никак не сборник, а цельная, единством связанная, лирическая книга, одна световая поэма, где один стих ведёт к другому, как строфа к строфе. Поэтому-то мы оба безусловно и настаиваем на отсутствии дат и посвящений», – писал он издателю, имея ввиду под «мы оба» себя и жену, которая помогала ему в рабочих отношениях с Оболяниновым⁸.

Увы, надежды, связанные с тем, что книга окажется именно такой, как намечал автор, не осуществились. Вышедшая в свет 30 октября 1937 года в типографии издательства «Заря», тиражом 350 экземпляров, с обложкой работы дочери издателя, Вероники Оболяниновой, она имела ряд погрешностей, вину за которые, возможно, нёс (указанный в выходных данных) типограф П.П. Горячев.

Так, в стихотворении «Осень брошенная» на стр. 3 не хватило последней строки: «Ветер – мчит!». Лишённая чёткости, она явно была допечатана (рукой или на станке? – неясно) после сделанной вёрстки.

Тексты «Лист анчара», «Памяти Пушкина», «В сумерках», «Рыжая луна» набраны довольно сжато, без достаточных пробелов между частями.

В стихотворении «Ночь. Я сплю» на стр.56 в первой строфе перепутано слово. Напечатано:

« – Ночь. Я сплю. Но сердце чуткое не спит...»
Кем звездящийся тот свисток вздохов свит?
Ночь. Я сплю. Завесой вежд загашен взор.
Но с тобой в душе – безмолвный разговор.

При чём тут «свисток»? Не свисток – свиток. То есть, надо было:

« – Ночь. Я сплю. Но сердце чуткое не спит...»
Кем звездящийся тот свиток вздохов свит?
Ночь. Я сплю. Завесой вежд загашен взор.
Но с тобой в душе – безмолвный разговор.

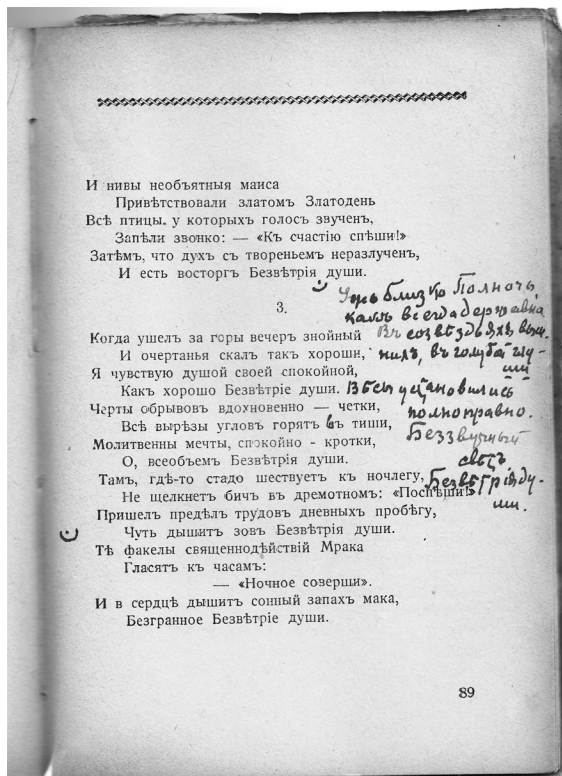
В авторском экземпляре – один из которых сейчас передо мной – Бальмонт отметил и поправил обозначенное место пером.

Значительно большее добавление тем же пером сделал он к 3-й части стихотворения «Безветрие души» на стр. 89 после строки: «Чуть дышит зов Безветрия души»:

Уж близко Полночь, как всегда державна,
В созвездьях вышних, в голубой глуши
Весы установились полноправно.
Беззвучный свет Безветрия души.

Очевидно пользуясь исправленным экземпляром «Светослужения», Н. Молчанова⁹ при перепубликации сборника в 2005 году, в Воронеже, дала эту часть «Безветрия души» в правильной авторской версии, однако, увы, допустила неточность в одной из других строк. У Бальмонта было так:

Черты обрывов вдохновенно-четки,
Все вырезы углов горят в тиши...



(правда, в книге предлог «в» был набран «с» – поэт внёс исправление карандашом), в воронежской же версии оказалось:

Черты обрывов вдохновенно-четки,
Вот вырезы углов горят в тиши...¹⁰

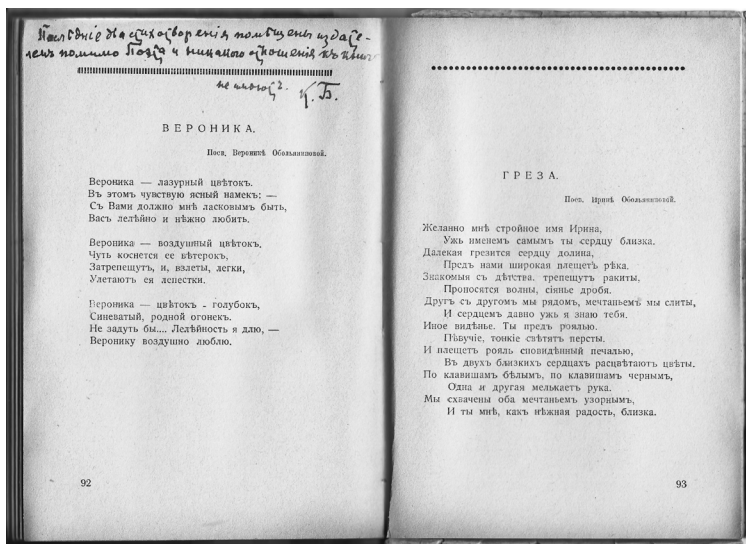
«Вот» вместо «все», разумеется, не одно и то же.

Вопрос о неточностях при наборе «Светослужения» и исправлениях, сделанных автором, между тем, заслуживает внимания. Описав имеющийся экземпляр книги в фонде редких изданий библиотеки Гавайского университета, Амир Хисамутдинов (один из авторитетных специалистов по истории русской эмиграции на Дальнем Востоке), отметил в нём пометки рукой Бальмонта в стихотворении «Не скажу я никому...» на стр. 35: первая строка – «желанная» исправлена на «желанной», 3 строка – «обоянная» – на «обаянная», на стр. 65, строка 3 – «играют» – на «играть». В имеющемся у меня экземпляре все эти слова на указанных страницах оставлены без изменений. Может быть, поэт забыл это сделать? Не исключено.

Более любопытно, впрочем, другое место. Согласно А.Хисамутдинову, заголовок стихотворения «Почему ты не со мною?» на стр. 37 в экземпляре библиотеки Гавайского университета был набран: «Почему ты не со мною?» и – перевернут...¹¹ В моём экземпляре всё совершенно правильно, типографских следов исправлений нет. Как объяснить это? Трудно представить, что при тираже в 350 экземпляров, который почти наверняка делался в один приём, печатная машина была вдруг остановлена и пущена заново с исправленной страницей; в таком случае, по крайней мере, исправления можно было бы сделать и в других местах... Разумеется, предположить можно, что угодно, но ясного, рационального ответа я в данном случае не имею.

С другой стороны, почти слово в слово, как и в экземпляре, описанном А. Хисамутдиновым, на 92-й странице в моем экземпляре над стихотворением «Вероника» с посвящением Веронике Оболяниновой, написано:

«Последние два стихотворения помещены издателем помимо Поэта и никаких отношения к книге не имеют. К.Б.».



Последним, то есть следующим за «Вероникой», было стихотворение «Грёза» с посвящением Ирине Оболяниновой. Очевидно, пользуясь положением издателя, В. В. Оболянинов в данном случае проявил непростительную вольность, связав членов своей семьи, дочерей¹², с именем большого русского поэта. Нарушена оказалась не только концепция книги, в которой, как было отмечено выше, Бальмонт не хотел никаких посвящений и которая должна была представлять собой некое «световое» единство – нарушены оказались отношения между поэтом и издателем,

вне всякого сомнения, не думавшего о том, что вместо подарка к 70-летию поэта книга принесёт ему глубокое огорчение.

Тем не менее, есть основания считать, что, даже оставив на имеющихся у него экземплярах «Светослужения»¹³ столь резкую надпись (образно говоря, бросив её в океан времени, как бросают бутылку с письмом о кораблекрушении оказавшиеся на острове моряки), поэт всё же любил эту книгу, с которой по воле Судьбы ушёл из жизни... Свидетельством тому служит заметка в той же газете «Парижский вестник», написанная к годовщине его смерти:

«Маленькая квартирка – две комнаты с кухней, – в предместье Парижа.

В одной из комнат, окруженный книгами, лежит умирающий поэт. Его голова с длинными седыми волосами откинута назад. Он что-то шепчет-напевает. Отрывки из своих стихотворений. Потом замолкает, мучительно вспоминая. Его лицо хмурится.

И тогда его верная спутница, жена, раскрывает томик его стихов и читает, читает... И лицо поэта просветленно оживает – он весь в звуках, в воспоминаниях о звуках... Так, незадолго перед своей смертью Шаляпин слушал напетые им пластинки...

... В этот поздний вечер, вернее, в ночь, под 23 декабря 1942 года, поэт попросил прочесть из последнего сборника «Светослужение». На дворе свистала буря. Огонь в маленькой печурке уже догорал. Жена читала, распевая стихи:

Когда ушел за горы вечер знойный
И очертанья скал так хороши,
Я чувствую душой своей спокойной
Как хорошо Безветрие души.
Черты обрывов вдохновенно-чётки,
Все вырезы углов горят в тиши,
Молитвенны мечты, спокойно-кротки,
О, всеобъём Безветрия души!
Пришёл предел трудов дневных пробегу!..

На этой строчке высоко поднялась грудь умирающего. Жена ещё успела дочитать:

Чуть дышит зов Безветрия души.

И на этом стихе стихло дыхание поэта.

...В воскресенье, 30 января, после литургии, в храме на рю Дарю русские люди соберутся, чтобы помолиться об упокоении души большого русского поэта».

Публикация появилась ровно за неделю до этой даты¹⁴. Подписана она была Г. Ев-ов. По всей вероятности, автором являлся Георгий Евангулов¹⁵.

Париж

Примечания

¹ В. Н. Унковский (1888, Харьков – 1964, Шелль, под Парижем)

² «Парижский вестник». №30, 9 января 1942.

³ И. С. Шмелёв (1873, Москва – 1950, Бюсси-ан-От, Франция)

⁴ Г. Адамович. Литературные заметки. Книга 1. – СПб: «Алетейя», 2002. С. 318-319.

⁵ Мать Мария (1891, Рига – 1945, Равенсбрюк). Клепинин Дмитрий Андреевич (1904, Пятигорск – 1944, Бухенвальд).

⁶ Б. Зайцев. Далёкое. – Washington, «Inter-Language Literary Associates», 1965. С. 46.

⁷ В. В. Оболянинов (1882 – 1968, Нью-Йорк). Согласно информации, полученной от дочери К. Д. Бальмонта Н. К. Бруни, в 1964 г. Оболянинов прислал в литературный отдел Академии наук СССР пакет с документами, в частности с машинописным экземпляром «Светослужения» с пометками Бальмонта. В этом же письме он сообщал, что ему 82 года, что он живёт в Нью-Йорке с 1959 года, не имеет там корней, что обе дочери его замужем за служащими ООН. (см.: Бруни Н.К. О моих поисках бальмонтовских архивных материалов // Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания XX века. Вып. 1. Иваново, 1993.).

⁸ Письма К. Д. Бальмонта к В. В. Оболянинову опубликованы в книге: Куприяновский П. В., Молчанова Н. А. «К. Д. Бальмонт и его литературное окружение». – Воронеж: ФГУП ИПФ, 2004. С. 180.

⁹ Н. А. Молчанова. Вместе с П. В. Куприяновским автор самых значительных публикаций, посвященных жизни и творчеству Константина Бальмонта: «Поэт с утренней душой» (Москва: «Индрик», 2003) и др.

¹⁰ К. Д. Бальмонт. Светослужение. 1936 г., август. – 1937 г., январь. Стихи. – Воронеж: Воронежский государственный университет. Кафедра русской литературы XX века, 2005. С. 72.

¹¹ Amir Khisamutdinov. Как у Бальмонта украли стихотворение // Australian Slavic and East European studies. 1996. Vol. 10, № 2. P. 33–36.

¹² О дочерях см. примечание 4. Никаких других сведений о Веронике у нас нет. Об Ирине (в замужестве Прищепенко/Prischerenko) сотрудница Библиотеки Гавайского университета Патриция Полански (Patricia Polansky) мне любезно сообщила: Ирина Всеволодовна (1895–1967, Нью-Йорк) окончила гимназию Оксаквской и колледж Христианского Союза Молодых Людей (ХСМЛ) в Харбине, затем Милс-колледж в Сан-Франциско (1942). Позднее занималась благотворительной деятельностью. Являлась сотрудницей Интернационального института в Сан-Франциско (до апр. 1946), затем жила в Нью-Йорке.

¹³ Вопрос о том, какое количество экземпляров «Светослужения» поэт получил от издателя, снабдил своими пометками, остаётся открытым. На сегодняшний день мне известно лишь то, что один из них имеется в Библиотеке Гавайского университета; другой – у меня. Об экземпляре в Библиотеке Гавайского Университета см.: Патриция Полански. Русская печать в Китае, Японии и Корее. – Москва: «Пашков дом», 2002. С. 50.

¹⁴ «Парижский вестник». №83, 22 января 1944.

¹⁵ Г. Е. Евангулов (1894, Грузия – 1967, Гамбург, Германия). Писатель.

Виктор ИВАНОВ

ПРЫЖКИ ГОЛОВОКНИГОГО COGITO

Денис Ларионов. Смерть студента: Первая книга стихов. – М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2013. – 48 с. – Серия «Поколение», вып.38

Многие помнят сюжет романа писателя-фантаста А. Беляева «Голова профессора Доуэля», повторенный в фильме «Город потерянных детей» и навеянный экспериментами с мозгом выдающихся советских мыслителей и государственных деятелей. В фильме Марка Каро и Жан-Пьера Жёне сумасшедший мозг изобретателя, посаженный в аквариум, в финале спасает двух странных героев этой киберпанк новеллы – инвалида-моряка и девочку.

Если же вспомнить одну из обложек к популярной «зеленой» серии издательства «Азбука-классика» – «Размышление о методе» Рене Декарта, то там, напротив, изображается сцена анатомического театра.

Некий подобный театр современного cogito разыгрывается в книге Дениса Ларионова «Смерть студента». Само название воскрешает в памяти имена Достоевского, Гаршина, Нечаева и Короленко. Только здесь злодеяние, жертва, преступление, осознание, озарение, сведены до точечной акупунктуры языковой формулы. Здесь язык, представленный как разъятая мышца, речь, показанная через большое горло, мыслят и действуют внутри распухшей головы студента. Холодный ланцет в руках мыслящей фигуры, субъекта, лишенного опознавательных знаков, помещен в среду этой мыслящей огромной головы.

М. разгрыз флэшку Л.
– Картезий! – воскликнула К.
Удивительно остро.
Сжимает фрагменты ночные
язычеств шоссе –
пока я пишу этот текст

Стихотворная формула Ларионова лаконична, и восходит с одной стороны к поэзии language school и собственно Аркадия Драгомощенко, которому посвящено одно из стихотворений, с другой стороны, по ритмике напоминает заклиательные практики Геннадия Айги с их солнцетворческой формулой. Но у Ларионова мыслящий субъект не ставит себя в центр даже микрокосма, он поделен на сегменты, которые управляются двумя векторами: мыслью и болью, и попыткой помыслить «тень предмета», объекта, смерть, утрату, повторение времени в условиях непреходящего болевого шока, аффекта, страдания. Эти края мышления и языка словно бы пробуждаются под эфирной терапией и ударами электродов в сердце. Собственно в этих стихах и дана разъятая надвое, на боль и на мысль, субстанция, которая пытается встать под ударами гальваники.

«Что делал?» –
«Слушал Клауса Шульце»
Слушал излишне
Типа всё в прошлом.
Всё тонет в горле.
Горло болит.
У внутренней речи
В эпизодической роли:
Ура!
С переломанной шеей на службе!
Впрочем, не без удовольствия
Было разбито стекло.
«Как? Слоёнов?» –
Переспрашивает А. Д.
Нет

Разумеется, такое мыслящее существо не может существовать, но во многом именно так и устроена логика cogito – под сегментами мысли, причиняющими боль – подразумеваются вполне конкретные фрагменты реальности, крайне обрывочные, чтобы стать историей, но и шифрующие внутренние приключения сознания в такой форме, что реконструировать их невозможно, – ведь именно так их фиксирует мыслящая извилина. Между тем это

встречи, разговоры, любовные истории, головокружительные прыжки, совершенно стертые из памяти, помеченные только соответствующими останками впечатлений. И именно в этом особый стоицизм лирического героя Ларионова, его отказ от сообщения, от сигнала, что герой находится в бедственном положении, отказа от всего, что не есть боль и мысль. Внутренний электрон, шарик, прыгающий внутри этого мыслящего атома, рассказывает нам ровно столько о конвульсиях умирающего персонажа из мира Белинского, что мы можем испытывать только боль и всякий раз можем лишь пытаться проделать собственную процедуру помыслить эту боль. Но этот же RND-шный атом, выбрасывающийся из головы, оставляет для героя, студента Ларионова, путь к своеобразному спасительному самоотводу: в финале книги мы читаем: «Денис Ларионов убит», и это напоминает газетную хронику. И хотя обстоятельства смерти зафиксированы, настоящий Денис Ларионов, чье имя стоит на обложке книги, оказывается спасен, как и герои «Города потерянных детей». И это очередная, реальная, и, конечно же, неумная шутка Зангези.

Предположительно азиатской
национальности.

Зверски избили.

Во дворе школы – оставили умирать.

Без комментариев.

Денис Ларионов убит.

Анна ГОЛУБКОВА

ВНЕЗАПНО РЕЦЕНЗИЯ

Иван Соколов «Мои мёртвые», Виктор Самойлов «Мёртвый груз», Алексей Княница «Другие», Олег Демидов «Белендрясы», Лидия Чередеева «Невинные слабости», Василий Бородин «Дождь-письмо», Дарья Суховой «Потом не будет», Светлана Копылова «Мычать», Вадим Кейлин «Страшный зверь Либр», Андрей Муждаба «В доме живет мышь», Петр Орлов

«Неровности поверхности». – М.: «Свое издательство», 2013. – Серия «Внезапно книга».

В самом начале лета на Майском фестивале новых поэтов в Петербурге была анонсирована очень интересная издательская акция, приуроченная к этому фестивалю: начиная с 17 июня и далее весь летний сезон каждый понедельник «Свое издательство» обещало выпускать новую поэтическую книжку и тут же вечером презентовать ее в книжном магазине «Свои книги». Куратором серии выступила Дарья Суховой – петербургский поэт и культуртрегер, а выпускающим редактором серии стала представитель издательства Александра Евдокимова. Скажу сразу же, что эта акция оказалась вполне успешной и привлекла к себе внимание не только петербуржцев, но и значительной части российской литературной общественности. По крайней мере, презентация серии в Москве, которая состоялась 22 июля, вызвала не только большой интерес и оживление в публике, но и спровоцировала самую настоящую дискуссию*. Как и Майский фестиваль, состав участников серии был вполне открытым. Тут не было изначально составленного списка поэтов, которых непременно нужно опубликовать, наоборот, все желающие могли прислать кураторам проекта готовые материалы для книги. Именно эта принципиальная открытость и вызвала возражения у части московских литературных деятелей. Хочется заметить, что при организации мероприятий подобного рода стратегия может быть самой разной – направленной как на сужение и структурирование литературного поля, так и на его расширение. И то и другое не только имеют право на существование, но и просто должны находиться в постоянном взаимодействии как осуществление принципа единства и борьбы противоположностей. И несмотря на то, что у эстетски настроенной публики могут возникнуть к составу серии какие-то пре-

* Подробнее см. заметки в «HF-Ex libris»: http://www.ng.ru/fakty/2013-08-01/3_borodin.html и на сайте «Культурной инициативы»: http://www.ng.ru/fakty/2013-08-01/3_borodin.html

тензии, Дарье Суховой удалось сделать нечто вроде моментального снимка определенного сегмента литературного поля, и это, на мой взгляд, стало безусловной удачей всего проекта.

Всего в рамках летней издательской серии «Внезапно стихи» вышло 11 поэтических книжек. Перечисляю в порядке выхода: Иван Соколов «Мои мёртвые», Виктор Самойлов «Мёртвый груз», Алексей Кияница «Другие», Олег Демидов «Белендрасы», Лидия Чередеева «Невинные слабости», Василий Бородин «Дождь-письмо», Дарья Суховой «Потома не будет», Светлана Копылова «Мычать», Владимир Кейлин «Страшный зверь Либр», Андрей Муждаба «В доме живет мышь», Петр Орлов «Неровности поверхности». За исключением книги Василия Бородина все остальные сборники стихов «НГ-Ex libris» либо вообще первые, либо вышедшие у поэтов после очень большого перерыва. Таким образом, серия обнаружила и представила на всеобщее обозрение тот пласт поэзии, который по разным причинам до сих пор не попадал в поле зрения издателей. И на фоне существующего поэтического книгоиздания она стала чем-то новым и свежим, может быть, даже немножко меняющим представление о том, какими должны быть поэтические книги и как они должны делаться. По крайней мере, именно в процессе редактирования серии, судя по всему, окончательно сформировались принципы кураторской стратегии Дарьи Суховой – стратегии, направленной на расширение литературного поля и на вовлечение в продуктивное общение поэтов с самыми разными голосами и направлениями. Именно такой разнообразной и открытой к постоянному диалогу как раз и стала поэтическая серия «Внезапно стихи». Посмотрим на нее поподробнее.

В книге Ивана Соколова «Мои мертвые», с одной стороны, в полной мере реализованы принципы коллажа и монтажного построения стихотворений, которые характерны в первую очередь для немиметической поэзии конца XX – начала XXI века. С другой стороны, в этих стихах есть какая-то пронизывающая все и вся энергия, которая подхватывает отдельные фрагменты, немедленно сплавляет их в одно целое и стремительно уносит куда-то

вдаль. С этой точки зрения можно говорить о присутствии в этих стихах элементов экспрессионизма. Очень интересно, что может выйти в дальнейшем из такого сочетания отстраненной работы с символами и эмблемами и неудержимого душевного порыва, который в этих стихах, несомненно, присутствует: «любовь рано отнимая от груди / цепкий мальчишка маленький вундеркинд / срывает одуванчик дуешь муссоном / торнадо волком на каменный дом / старой мельницей на сбрендившего идальгу / сумма сменных слагаемых дает / непредвиденный результат / черный ферзь закрывает рукой / глаза белого короля / целует в лоб ставит мат».

Дебютная поэтическая книга Виктора Самойлова «Мертвый груз» включает не только стихи (в отличие от стихов большинства участников проекта, они по большей части написаны силлаботоникой), но и прозу. При этом в обоих видах текстов автор тяготеет к афористичности, использованию каких-то сюжетных коллизий, обыгрыванию различных бытовых случаев, то есть несмотря на традиционную форму, мы здесь имеем то, что обычно называют прозаизацией стиха: «Волосы выпадают, как птенцы из гнезда. / Слово большие сумки, которых не донести. / Как пожилой инспектор по охране труда / прыгает из окошка от безысходности». В подобной ситуации именно прозаический раздел книжки кажется для автора более органичным и лучше проработанным.

Книга Алексея Кияницы «Другие» формально вторая, но так как первая книга стихов вышла еще в середине 1990-х годов, то ее можно по существу считать дебютной для этого поэта. Алексей Кияница пишет верлибры, которые по сути дела являются небольшими лирическими зарисовками. Эти стихи описывают внутренние ощущения жителя большого города, с одной стороны, несколько измученного ритмом городской жизни и придавленного огромными городскими пространствами, с другой стороны, все равно сентиментально привязанного к месту, в котором ему случилось обитать. В этих стихах, на мой взгляд, есть нотка экзистенциального стоицизма, который может оказаться близким многим читателям: «так они и лежат до сих пор / в шкапулке с оторванной крышечкой / перья для ручки / запонки / лампочка для

фонарика / университетский ромбик / булавки / пуговицы».

Дебютный сборник молодого московского поэта Олега Демидова называется «Белендрысы», что означает шутки и веселые рассказы. В общем-то, такое название почти полностью исчерпывает содержание книги, разве что в какие-то моменты поэт по интонации и глубине обобщения приближается к неподражаемому Козьме Пруткову. По книге заметно, что ее автор еще находится в поиске своей поэтической манеры, и потому пытается писать совершенно по-разному. Тем не менее нужно отметить, что эта книжка получилась понастоящему веселой, а это у молодых поэтов, неизбежно тяготеющих к пафосу и вселенской серьезности, встречается не так уж часто: «Море волнуется раз. / Море волнуется два. / Море волнуется три. / Взмолвлено море / Мной, стоящим на берегу. / Таким красивым».

Большой заслугой серии, как мне кажется, является выпуск книги Лидии Чередевой «Невинные слабости». Это дебютная книга уже давно и хорошо известного поэта (в том случае если мы, конечно, не будем учитывать поэтический сборник, выпущенный от имени игрушечного тюленя Зюзеля Вульфа). Этот поэт тоже предпочитает верлибр, который даже иногда может переходить в короткие прозаические зарисовки. Но не форма стиха здесь главное. На мой взгляд, в лирике Лидии Чередевой можно выделить как бы два направления: одни стихи четко соотносятся с прототипической жизненной ситуацией, а другие выстраиваются в совершеннейшем отрыве от знакомой нам реальности: «*Следите за своими вещами* // Некто был в библиотеке и забыл там обезьяну. Ее держали на полке с книжками и для сохранности накрыли колпачком. У нее затекли ножки». И вот эта работа сразу с двумя принципиально разными поэтическими методами очень интересна сама по себе. Но, к сожалению, книга имеет небольшой объем, и потому делать на ее основании какие-то критические умозаключения довольно-таки сложно. И потому очень хотелось бы увидеть более обширное издание стихов этого интересного автора.

Василий Бородин – единственный поэт из опубликованных в серии, у которого предыду-

щие книги выходили относительно недавно, в 2011 и 2012 годах, и поэтике которого посвящено несколько вполне качественных критических статей*. Книга «Дождь-письмо», по словам самого автора, имеет свою внутреннюю драматургию, выстроенную по времени года – первое стихотворение относится к концу мая, а последнее к началу сентября. В стихах Василия Бородина использованы два разнонаправленных принципа – фонетический, который скорее объединяет разрозненные по смыслу части в одно целое, и принцип монтажа, который, наоборот, разделяет текст на отдельные фрагменты. Таким образом уже в самом тексте возникает своя внутренняя интрига, порождающая особое смысловое напряжение. К этому, наверное, следует еще добавить очень сильное эмоциональное, сентиментальное начало, пронизывающее эти стихи и в первую очередь воздействующее на читателей и слушателей: «трамвай – как любящая снег / трава – чуть острый / и с отражением человека – / как окна-сестры / как шарф девчонки / мимо грусти-пешехода / и за-домами-солнце – / черным пароходом».

У Дарьи Суховой предыдущая поэтическая книга вышла в 2001 году, хотя этого петербургского поэта нельзя назвать ни невестребованным, ни малопишущим. Конечно, Дарья Суховой постоянно публикуется в журналах, альманахах и разнообразных сборниках, и все-таки на данный момент основным местом, где можно прочесть ее стихи, остается Живой журнал. Так что и в случае этого поэта давно уже назрела необходимость выхода представительной поэтической книги, которая бы более подробно представила динамику развития ее поэтики. Между тем книга «Потом не будет» получилась очень разнообразной. По сути дела, в нее вошли сразу несколько фрагментов разных поэтических книжек. Дарья Суховой в основном пишет стихи циклами, причем эти циклы обычно имеют тенденцию превращаться в маленькие (а иногда и совсем не маленькие) поэтические книги. В своих стихах этот поэт очень любит исследовать разные языко-

* См., например, статью Д. Безносова в журнале «Новый мир», 2013, № 8:
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2013/8/16b.html

вые случаи, которые только опосредованно могут быть связаны с какими-то прототипическими жизненными ситуациями. Скорее всего, осмысление Дарьей Суховой реальной бытовой коллизии приводит к некоему языковому казусу, который и становится отправной точкой для очередного стихотворения: «солнце вертится где-то / на повышенных оборотах. / аки во рту конфета, / плачет снег на газонах. // едет красивый (-ая) / в заднем окне трамвая. / блещет рельс электро / от ланской до лесного. // жмурит внутри человека / жатого черного снега / ком с машинного колеса, / где-то на энгельса. // т6мар1з». Но при этом, что самое интересное, стихотворение так до конца и не отрывается от породившей его бытовой ситуации, которую Дарья Суховой воспроизводит в виде примечаний и устных пояснений во время чтения стихов.

Дебютный сборник Светланы Копыловой называется «Мычать», однако автор отрицает какие-либо связи с историческим авангардом. Дарья Суховой обозначает эту поэтическую технику как «минималистический верлибр» и отмечает определенное сходство с практикой Всеволода Некрасова. На мой взгляд, у этих стихов есть две ключевые точки – это завершенность языком, попытка каким-то художественным образом осмыслить сам факт его существования и это представление о мире как хаосе. И то и другое отражается в поэтике Светланы Копыловой: она постоянно использует в своих стихах фонетику, морфологию и этимологию, а также применяет коллажный принцип построения текстов: «камни не разговаривают / не разговаривают реки ветки деревьев / стебли растений / гнут стан / воздевают руки / или заправляют в карманы / но не разговаривают». Но все это, как мне кажется, призвано продемонстрировать читателю мир как хаос, единственный порядок в который может быть внесен только посредством языка.

Книга «Страшный зверь Либр» – это вторая книга Вадима Кейлина (первая вышла в 2006 году, то есть уже семь лет назад). Время от времени этот поэт объявляет, что больше не будет писать стихи, но все-таки никак не может окончательно отказаться от поэзии. И это очень хорошо, потому что из всей серии именно эта книжка, на мой взгляд, представля-

ется одной из наиболее многообещающих. Во-первых, этот поэт не ограничивается какой-то одной стихотворной формой или одной раз и навсегда выбранной поэтической стилистикой, а постоянно применяет в своих стихах абсолютно разные поэтические и непозэтические средства. Во-вторых, наряду с постоянными формальными поисками Вадим Кейлин еще и очень чувствителен к содержанию – ему не все равно, о чем он пишет, то есть ему важно не только означающее, но и означаемое, не только языковая ситуация, но и то, с чем она соотносится. И здесь, как мне кажется, мы видим возможность перспективного синтеза двух совершенно разных направлений современной русской поэзии: «трамвайная незыблемость апреля / по рельсам тишины / чеканит шаг / когда бы не вычерпывали время / два черных экскаваторных ковша / медведицы / идешь / едва касаясь / земли / бульвар не выдержит двоих / и гложет / то ли совесть / то ли зависть / к известным строчкам / неизвестно чьим». Конечно, и в этом случае хотелось бы иметь более полное по объему издание поэтических произведений Вадима Кейлина.

Двух последних книг – Андрея Муждабы «В доме живет мышь» и Петра Орлова «Неровности поверхности» – у меня, к сожалению, нет. Но я уверена, что они интересны ничуть не менее, чем все остальные. Полагаю, что даже из такого краткого описания видно, что проект летней поэтической серии «Внезапно стихи» вполне удался. И все задачи, которые перед собой поставили его организаторы и кураторы, оказались выполненными. И этот позитивный опыт отнюдь не лишний в нашей сегодняшней литературной ситуации.

Владимир КОРКУНОВ

НЕЗАМЕНИМОСТЬ ЖИЗНИ

Ю. Г. Ломов-Оппков. Незаменимые. – М.: Литературная Россия, 2013. – 264 с., ил.

Коллизии советского прошлого долго будет оставаться злободневной темой для обсуждений – споров, ругани, обретения единомышленников, коалиций анти- и ста-

линистов. Однако времени утекло изрядно, и тиранические/благословенные (кому – как) годы вернуться не могут. Мемуары Юрия Ломова-Оппокова «Незаменимые» в этом смысле – субъективная, но важная книга, показывающая эпоху с точки зрения человека, соприкоснувшегося с высшими эшелонами советской власти.

Отец автора, Георгий Ипполитович Оппоков (А. Ломов), – советский государственный и политический деятель, член первого Совета Народных комиссаров после Октябрьской революции. Неудивительно (хоть и жутко), что во времена сталинских чисток он, как и многие «старые большевики», был репрессирован и расстрелян; неудивительны интонационные сдвиги в мемуарах сына – от нейтрально-положительного образа Ленина до полного неприятия Сталина. Всё это – субъективно, как субъективны любые человеческие мысли и мемуары (тем более мемуары – в них автор подспудно, даже не желая этого, выставляет себя в наилучшем свете, что уж говорить об оппонентах!).

«Незаменимые» – люди, существующие в обозначенную автором эпоху, во многом олицетворяющую минувший век; это и фигура Сталина – его образу автор уделяет едва ли не больше места, чем отцу. Это полюса. Если человеческой истории, жизненным взлётам и коллизиям семьи Оппоковых веришь, во всяком случае – до-веряешь (ибо по большому счёту мы и себе верим – не всегда!), то на реверсе – размышления, основанные на догадках, высказываниях (меньшая часть подтверждена документально) – не самых аксиоматических документах.

Книга начинается рассказом о роде автора, о личности отца (1-го народного комиссара юстиции РСФСР), о политических раскладах и событиях смутной первой трети XX века. Увлечённый нынешнего читателя семейной хроникой едва ли возможно, но вот наступает переломное, революционное время, и история семьи отчётливо накладывается на противоречивые события первых лет советской власти. Взгляд изнутри – интересен ещё и потому, что одновременно удалён и приближен к событиям. Первое помогает анализировать, отрешившись от ненужных и мимолётных сантиментов,

второе – позволяет заглянуть в святая святых. Семья Оппоковых до рождения автора жила в Кремле, отец тесно общался с великими мира сего (в том числе и с вождём пролетариата), а Сталин... Со Сталиным отношения были натянутыми: «Мама много раз рассказывала о том, как они порой здоровались.

– Здорово, интеллигент! – проходя мимо, говорил с издёвкой Сталин.

– Здорово, кавказский человек».

Эпизод вроде бы заурядный, однако отношение показано – на уровне детали («с издёвкой»), до каких Шаламов если и добирался, то изредка – он предпочитал сражаться фактами, отстраняясь от них, не давая авторской оценки (только иногда – всего несколько раз в «Колымских рассказах»).

Мемуары разворачиваются по издавна проложенному маршруту: детство, война, студенческие годы – здесь же о маме, тюрьмах и лагерях (самого автора это миновало – хотя с семьями репрессированных подчас не церемонились – особенно, когда речь шла о «высших эшелонах»), побоях... Версии смерти Н. С. Аллилуевой переплетены со сведениями о жертвах репрессий, штрихами к портрету отца (они появляются на протяжении всей книги, иногда между строк); наконец, повествование доходит до жены Люси.

Мемуары разрозненны и отрывочны; автор пытается объять необъятное, к действительной истории семьи приблизить правду и выдумки о репрессиях, письма, личные встречи, газетные статьи, воспоминания свидетелей эпохи. Что из этого истинно? Что правдиво? Правдиво – для автора, истинно – для мира; а ведь это тоже полюса: сказав-не соврав, можно ошибочно завести себя в демагогическую глушь, оправдать и приговорить – досконально ли нам известен предмет разговора? Разве сам Сталин написал тысячи и тысячи доносов? Или люди по природе своей жестоки и мстительны, и если им в руки дать меч, они захотят пустить его в дело?

Обличение советского времени стало трендом. Но и ностальгия по утраченному – тренд. В какой точке истина, кто приблизился к ней? Правы ли те, кто стоял в 1992 году за свободу, а теперь скорбно опускает глаза – за такую ли свободу боролись?

Но это споры – им несть числа, и не заживает рана, оставленная временем. Имеет право Ломов-Оппоков на своё мнение (особенно, когда его семья и детство коснулось кровавый террор)? Разумеется! Имеют ли право его оппоненты? И тоже – да. Эпоха сталинизма продолжает обрастать подробностями, воспоминаниями, реабилитациями и обличениями. И только спустя годы, десятилетия и века можно будет говорить о ней более-менее объективно (учитывая, разумеется, политический контекст). Важное условие – чтобы стихи раздирающие людей противоречия; сейчас мы не бьёмся в судорогах споров, осуждая или возвеличивая Петра I или Ивана Грозного, – а разве мало было безвинно погибших в эти эпохи?

Важной частью книги являются фотоматериалы, представленные на вкладках; их разглядываешь с трепетом – как и всегда, когда дело касается людей и истекшего времени. Могли ли ожидать люди на фото, что случится с ними через десять лет, даже – на следующий день; многих ли, кто запечатлён на фотографиях, река времени донесла до нашего настоящего? Но они – свидетели эпохи. Противоречивой, счастливой и несчастной – эпохи. Их эпохи. И каким бы ни было их время – они являлись детьми его, любили и страдали – жили. Они – неравнодушные, они – незаменяемые. Как незаменим и автор книги Юрий Ломов-Оппоков, пронесший в себе сонм воспоминаний о канувшем безвозвратно, оставивший нам скромную (местами – скорбную!) память, личный – а потому бесценный – опыт.

Борис КУТЕНКОВ

А ГДЕ ЗДЕСЬ ПОЭЗИЯ?

Станислав Ливинский. А где здесь наши? – М.: Воймега, 2013. – 48 с.

У меня в руках – скромная книга, проникнутая чувством ответственности за сказанное. Вряд ли стоит говорить – «томов премногих тяжелей», скорее – «мал золотник, да дорог».

Скромная – даже на первый взгляд, по внешним признакам: объём в 48 страниц – редкость для поэтического сборника (а он у Ливинского – уже второй; первый – «Оглазок» – вышел в родном городе поэта, Ставрополе, почти незаметно для «внерегиональной» литературной общественности. «Москвоцентричное» признание пришло позже – публикации в «Знамени», «Дружбе народов», победа на Волошинском конкурсе в номинации «Рукопись неопубликованной книги», благодаря которой в престижном издательстве появился рецензируемый нами сборник). Стихи без чрезмерного чувства уверенности, без захлёбывания собственной дерзостью – скорее, с придиричивостью по отношению к себе, постоянной проверкой на прочность. «...выкладываешь буковки, слова. / Отходишь посмотреть, как получилось». Словно бы стесняющиеся излишнего пафоса и поэтического неправдоподобия – и «для надёжности» оттеняющие любой поэтизм точностью бытовой детали: «Да будешь ты. Ещё зима и лыжи. / В прихожей гвоздь, на нём твои ключи».

Кто сказал, что биография художника – в его творениях? В случае Ливинского это как нельзя более верно – в буквальном смысле. Читаем на обложке, что автор «после школы получил профессию фотографа»? Вот – сколько угодно цепких, обособленных, словно выхваченных из вечности «остановленных мгновений»: «как вот такая оса к ним перед смертью влетела, / как он в Сочи ей купил кружку с дельфином вот эту...». Да и отсылки не только к фотографической запечатлённости, но и к перелистыванию альбома предостаточно. «Отмотаешь её на полжизни назад / или, может, вернёшься в начало страницы...» и даже «смерть, моргнувшая на фото». И вопрос, вынесенный в заглавие книги, схож с тем, который можно услышать при разглядывании фотоальбома (к профессии фотографа отсылает и неологизм, ставший названием первой книги Ливинского). Ливинский как мало кто из современных поэтов внимателен к бытовым пустякам (надо ли добавлять вслед за Тыняновым, что частностями живёт литература?). «Поэзия, следи за пустяком, / Сперва за пустяком, потом за смыслом», – писал Александр Кушнер (кстати, руководитель мастер-класса,

в котором Ливинский был на Форуме молодых писателей в Липках). Вся книга – как фотоальбом, бережно хранящий последовательность с виду незначительных, но дорогих мгновений.

А вот, кажется, – параллель с профессией видеооператора (к которой тоже принадлежит Ливинский), делающего выгодный монтаж кадров, чтобы снять удачный фильм:

Вот мой лирический герой,
в трусах и шлёпках, без виньетки.
Ему б опять – советский строй,
гитару, «Город золотой»,
глазок замазывать соседке.
И память, как защитный слой,
шкряб-шкряб монеткой.

Слышишь жёсткое «Не трогай у судьбы крутилки и настройки» – но сам автор трогает, и фильм о судьбе – и своей, и целой страны – получается жёстким и предельно реалистичным. Нарезка кадров – личных и социальных, но непременно подкреплённых «почвой и судьбой», – отличается стремлением к уравниванию прочувствованного и сказанного, сбывшегося и написанного. Вот – «Пластмассовый солдатик на войне, / Убитый из игрушечного танка», падающий замедленно в листву. «Огромная страна уснула на спине, / Лежит с открытым ртом...», а лирический герой «срезает трын-траву» и молот там кладёт, где инструменты» (и не столь важно, что эти цитаты – монтаж из двух стихотворений Ливинского: сюжет-то, по сути, один). Но эти метафорические, хотя и вполне ясные «виньетки» («ложной сути», хочется продолжить вслед за плеонастической песенной ассоциацией) – «до первой крови». А вот уже – страшная история о повесившемся сослуживце – «Снежинка» (стихотворение пробирает от начала и до финала, и с каждым прочтением всё сильнее, поэтому пересказывать его, несмотря на сюжетность, лишнее, – лучше найдите сами и прочитайте). Это тоже – к моменту биографической оправданности. Скажете, последнее – не безусловное достоинство? Возможно, но от упреков в «игре» и в том, что автору «нечего сказать» – безупречный защитный слой. И даже в самом построении слов у Ливинского есть что-то от солдатского плаца, от ожидания

придирчивой оценки старшего («А писал слово бог, вымеряя всегда точка в точку. / И стояли слова – пятки вместе, носочки поврозь»).

Вот – почти обязательная для современных стихов ирония над ролью поэта, но с индивидуальным оттенком: «... На сочинителей стишков / всегда глядит поверх очков / и что-то в свой блокнотик пишет» (это о личном Боге – в противоположность собственной «дырявой памяти» и «тройке по литературе»). Ср. у Слуцкого – «Господь не любит умных и ученых, / Предпочитает тихих дураков, / Не уважает новообращенных / И с любопытством читит еретиков». Мы уже сказали про внимательность Ливинского к бытовому сору? Между тем, есть у него и такое – пренебрежительное: «...про лебеду загни, про сор и лопухи». Не сразу даже проводишь параллель с хорошо знакомым первоисточником, – а, восприняв, удивляешься: источник произрастания стихов неизменный («из сора» – а как иначе?), только вот эта царственная поза – «когда б вы знали» – как и поза вообще – Ливинскому не свойственна. Отсюда, видимо, и пренебрежительная интонация по отношению к ахматовским строкам.

«Прелесть элегических затей» Ливинского, его сдержанное бытописание восходит к Сергею Гандлевскому (не раз, кстати, признававшемуся в неприятии монументального имиджа Ахматовой). Переключек с критическим сентиментализмом, далёких от эпигонства, но позволяющих говорить о разумной преемственности, в книге «А где здесь наши?» немало, поэтому на всех останавливаться не будем. Стихотворение «На порожах курить и смотреть на родную спецшколу...» представляет собой интересный микс сразу из нескольких аллюзий на стихи Гандлевского. Первый кадр заставляет вспомнить о его «Не сменить ли пластинку? Но родина снится опять...» (ср. у Ливинского: «На порожах курить и смотреть на родную спецшколу, / на безумные окна спортзала, заделанный лаз. / Наливать по чуть-чуть, запивать если-что-пепси-колой. / Ну – за нас!» и «В том, что я ошиваюсь на свете дурак дураком / На осеннем ветру с незажженной своей сигаретой» Гандлевского), вторая часть – ещё более явная аллюзия на его «Чикиликанье галок в осеннем дворе...» («Хо-

роша наша жизнь – напоит допьяна, / Карамелью снабдит, удивит каруселью, / Шаловлива, глумлива, гневлива, шумна – / Отшумит, не оставив рубля на похмелье...» у Гандлевского – и «Как тихушница-жизнь шарит в сердце, брюзжит о расплате: / подрисует усы, бородёнку, добавит морщин» Ливинского). Последующие строки («А когда-то на задней-презадней расписанной парте / Жил-был мальчик один») напоминают скорее не о каких-то конкретных строках Гандлевского, но в целом – о характерном для него ироническом угле зрения на себя прежнего. Между тем эти слова Ливинского, рождающие целый сноп ассоциаций (от «Мальчишкой в серой кепочке остаться...» Бориса Рыжего, тоже немало позаимствовавшего от поэтики Гандлевского, до самого очевидного – «Перед зеркалом» Ходасевича), приводят на память ещё и стихотворение Олега Дозморова «Мальчик сообщает собаке, что она собака...» из его книги «Смотреть на бегемота». Схожесть – не только в вариации обозначенной темы «а был ли мальчик?», но и в метафизической концовке – при всех различиях: у Дозморова голос из прошлого преобразован в монолог детства, страшным авторитарным жестом отменяющего настоящее («...Звонит тебе, стихотворцу и мудозвону, / говорит: “Ты помер. Слышишь, старик, ты помер. / Что ты там шепчешь про не тот номер? / Это я кручу диск в жёлто-красной будке. / Это я звоню тебе, как “Звезда” “Незабудке”. / Это я тебе снился все эти двадцать лет. / Я придумал тебя, и теперь тебя больше нет”»); «темнеющая» эгегическая печаль Ливинского оставляет впечатление скорее взгляда в бездну из хорошо знакомых, подъездных или школьных координат:

Остывает мгновенье, потом
выцветают чернила
или, может быть, стало на улице
раньше темнеть.
Перегнуться, повиснуть вот также
на шатких перилах,
плюнуть вниз и смотреть.

Похожий мотив встречается у Ливинского в начале стихотворения «Поэт» («Мальчик думал про светлое завтра / и мечтал, как и все, космонавтом, / чтобы к звёздам своим уле-

теть»; ср. у Гандлевского: «И юннат был мечтательным малым – / Слава, праздность, любовь и т.п. / Он сказал себе: «Что как тебе / Стать писателем?» / Вот он и стал им»). Тут, однако, заметна и разница: метафизика Гандлевского ударилась бы в похмельное рыдание или другую крайность – если можно так выразиться, «крайность умеренности» и предельного рационализма, иными словами – так или иначе, в область авторефлексии, сгущённой до предела; психологический жест Ливинского всегда остаётся в более или менее сдержанных рамках, даже в метафизике не выходя за пределы пресловутой реалистичности. Хорошо это или нет, и стоит ли повторять слова той же Ахматовой, что стихи должны быть бесстыдными – вопрос спорный; впрочем, критика, как неоднократно отмечалось, – не книга жалоб и предложений.

«Как ни пыхти, ни старайся, лучше не скажешь об этом». «Лучше сказать» – в представлении Ливинского значит достовернее. Лирика его решительно вторгается в сферу внепоэтического – иногда до острой нехватки алогизма (автор может возразить на это, что алогичности хватает и в жизни). И, увы, в худших вещах книги приближение к тональности жизненной правды опасно переводит высказывание в область зарифмованной прозы не лучшего качества. Выводит написанное на уровень поэзии среди нетрансформированных слов порой случайный жест. Скажем, неоднозначен образ «в книге жизни склеены страницы»: «книга жизни» – очевидный штамп, но «книга со склеенными страницами» (особенно в сочетании с «запоминай обратно») – образ меткий и выдающий талантливое перо. Знакомые слова иногда кажутся слишком знакомыми; впечатление банальности создаёт порой и разговор «с увлажнёнными глазами», где отторгают уже, напротив, поэтизмы. К примеру, начало стихотворения «В пересуды листвы, в желтизну ноября...» – на опасной грани между песенностью и тривиальностью (в самом деле, «пересуды листвы» и «осторожность первого снега» – очевидные вкусовые сбои, да и сама метафора «уходящего троллейбуса» отсылает не столько к «синему троллейбусу» Окуджавы, сколько к некоторым советским песням не высшего сорта). От альбомности не избавлена и вторая половина стихотворения «Нас

из одной лепили глины...». Ливинский порой слишком много объясняет, отчего образ приобретает излишнюю подробность, теряет парадоксальность. Например, у Гандлевского, уже упоминавшегося здесь, в строках «Казалось бы, отдал бы все, лишь бы снова ждать у метро / Женщину 23-х лет в длинном черном пальто» мгновенный эмоциональный эффект, основанный на контрасте, возникает от сопоставления «двадцати трёх лет» и слова «женщина» (не «девушка»), не очень-то, кажется, ассоциирующегося с этим возрастом. Сравним со схожим образом у Ливинского: «И женщина, которую девчонкой / Ты дёргал за косички в первом классе». Здесь слово «девчонкой» кажется лишним; наглядный, но мастерски оформленный сбой логики, возможно, усилил бы афористичность, вывел написанное из пределов *высказывания в стихах* в область собственно поэтического хода.

Станислав Ливинский – поэт сдержанный и исполненный чувства собственного достоинства (хотел добавить «умеющий быть в меру уязвимым» и запнулся: уязвимость входит не столько в стиховую природу, сколько в свойства личности; слово «умеющий» же несёт оттенок искусственности. Будем считать, что это – прежде всего человеческий счастливый дар). В будущем у его стихов наверняка есть шанс расходиться на цитаты и запоминаться, а у читателей поэта – основания «любить лицо, а не искусство» (Тынянов). Однако поэзия – это ещё и эстетическая поза, и «таинственность брака в простом сочетании слов» (по Мандельштаму), и «краснопёрое словцо», от которого бежит Ливинский в сторону естественности речи. И, по-моему, сейчас для поэта было бы важно прыгнуть выше головы, найдя ту золотую середину, при которой бытописание не перевешивало бы собственно метафизическую субстанцию. И – от знакомого и бережно хранимого в памяти двигаться к «езде в неизвестное». Лучшие стихи книги «А где здесь наши?» позволяют на эту эволюцию надеяться.

...Ещё мерцает свет стоянок и аптек.
Ещё сплошная тьма в космическом
разломе.
Ещё молчит земля, и первый человек
запоминает мир, как шестизначный номер.

Он курит на ходу, поднявши воротник.
Он смотрит на часы над заводской
столовой,
а стрелки, бросив всё, рванули напрямик.
А если снять часы, то там – плохое слово.

Юлия КРУТИЦКАЯ

ПРОЩАНИЕ С МОРОКОЙ

Ирма Кудрова. Прощание с морокой. – СПб.: Крига, 2013. – 488 с.

Автор этой книги сделала себе имя, изучая жизнь Марины Цветаевой и исследуя ее творчество. В своей автобиографии Ирма Кудрова относит себя к тому поколению, которое с раннего детства впитывало атмосферу «идеологического морока». Она не боится признаться в том, что, находясь во власти коммунистических догм, в шестнадцать лет в своем дневнике написала: «Хочу бороться за мировую революцию. Сколько можно ждать ее!» (с. 50). Позднее будущая исследовательница русской поэзии с упоением штудировала «Три источника и три составные части марксизма», а также «Тезисы о Фейербахе». Однако одурманивание коммунистическими идеалами закончилось для нее полным избавлением от заблуждений юности; описание этого процесса и легло в основу повествования. В целом же пребывание во власти великой иллюзии стало не только бедой целого поколения, но и суровым испытанием, закалившим тех, кто потом делал перестройку. «Существует на свете и *богатство бед*, – сказала однажды редчайшая умница Марина Цветаева. Этим богатством тоже не стоит пренебрегать» (с. 16). Как полагает автор, болезненное «прощание с морокой», начавшееся после смерти Сталина, полностью не завершилось и сегодня.

По мнению автора, именно творчество Цветаевой как нельзя лучше отражает смысл эпохи расставания с заблуждениями. Значительная часть книги посвящена трагической судьбе поэта, воспоминаниям современников и анализу творчества. Цветаевские стихи, говорит Кудрова, покоряют своей пронзительностью и интонацией свободы. Разумеется, тако-

го настроения с избытком хватало у Брюсова и многих других, но у Цветаевой «присутствовала такая самоотдача, такая искренность – без малейшей позы, такая эмоциональная мощь ...» (с. 195). Кудрова вспоминает, что уже первое знакомство с текстами Цветаевой вызвало у нее почти шок; она действительно «заболела» этой поэзией. Впрочем, цветаевская проза, позже обнаруживавшаяся в разрозненных публикациях, поражала ее не меньше.

Кудрова описывает встречи и беседы с большим количеством людей, знавших поэта. Контакты многих современников, встречавших Цветаеву в Москве, Париже, Елабуге автор получила благодаря содействию переводчицы Маргариты Райт-Ковалевой, также поклонницы ее творчества. Интересно, что к Цветаевой кое-кто из собеседников Кудровой относился без особого доброжелательства: «В те годы слава ее не заставляла еще подстраиваться к общепринятому восхищению» (с. 201). Однако при этом лица многих людей озарялись уже при одном упоминании ее имени. Например, биолог Николай Тимофеев-Ресовский, ставший героем повести Даниила Гранина «Зубр», рассказывал, что во время встреч с Цветаевой его не покидало ощущение «присутствия необычайно сильной самобытной личности». «Она была именно поэт, а не поэтесса, поэтесса – это Ахматова, – говорил он. – Нестандартная личность сказывалась и в ее суждениях, и в каждой интонации голоса» (с. 206--207).

Помимо исторических свидетельств автор обобщает и наработки исследователей творчества Цветаевой, особо выделяя среди них Ефима Эткинда, критика, переводчика, историка литературы, вынужденного эмигрировать в 1974 году. Именно он через семь лет после выезда из Советского Союза сформулировал так называемый «парадокс Цветаевой», заключающийся в том, что ею долгое время пренебрегали и в СССР, и в эмиграции. В стране Советов такое отношение было обусловлено тем, что она эмигрантка, а на Западе причиной игнорирования стали ее симпатии к советской поэзии в лице Владимира Маяковского, Бориса Пастернака и других. Теперь, когда «оба лагеря стараются наверстать свое пренебрежение и перешеголять друг друга» (с. 410), произведения самой Цветаевой и работы о ее творче-

стве широко печатают как в России, так и за рубежом. Благодаря этому, по словам Эткинда, Цветаева, в конце концов, стала «живым воплощением единства русского поэтического процесса Запада и Востока» (с. 412). Кудрова подчеркивает, что Эткинд первым обратил внимание на такие характерные черты цветаевского творчества, как невероятное богатство ритмов, неизменную полемичность и динамичность, переосмысление традиционных сюжетов на живом материале современности. Кроме того, Цветаева интересует Эткинда как новатор стиха, осуществивший наряду с Владимиром Маяковским «трансформацию русской рапсодии» (с. 427). «Нельзя не пожалеть о том, что до сих пор работы Е.Г., так или иначе связанные с именем Цветаевой, не собраны в одну книгу», – сетует Кудрова (там же). Было бы странно, если бы автор, рассуждая об ученых, писавших о Цветаевой, обошла бы вниманием свой собственный вклад. Работа над книгой «Путь комет»*, говорит Кудрова, растянулась для нее на четверть века. За это время ее опередили сначала Мария Разумовская, а потом Анна Саакянц и Виктория Швейцер. Однако, не стесняясь говорить о собственных заслугах, Кудрова отмечает: «Но уж об эмигрантском периоде жизни Цветаевой говорю уверенно: только я и превратила эту часть биографии Марины из невнятного пробела в живое, конкретное и насыщенное пространство» (с. 325). С этим утверждением нельзя не согласиться.

А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем –
Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени
На стенах ...
...
Так: временем как океаном
Прокрасться, не встревожив вод...

Эти строки из цветаевского стихотворения «Прокрасться», написанного в 1923 году, предваряют повествование не случайно. Феномен Цветаевой, несомненно, был отражением

* Кудрова И.В. Путь комет: жизнь Марины Цветаевой. СПб.: Вита Нова, 2002.

эпохи. Кудрова считает этот период «временем разочарований», на смену которому приходит «время перемен». Рассказывая о Цветаевой, писательница постоянно обращается к собственным воспоминаниям и переживаниям: «Не помню времени, когда внутренняя моя жизнь надолго замирала, разве что вот теперь, в годы, которые так противно и странно именуют старостью» (с. 9). Но зато советский период, который принес разочарование многим, автор называет «интереснейшими годами». Хотя «идеологический морок» тоталитаризма довлел над ее поколением, отмечает Кудрова, все же находились люди, противостоявшие некоторым обстоятельствам было сродни подвигу. Цветаева, с ее точки зрения – из их ряда. «Мы вырастали и выросли в режиме сталинской диктатуры и не с чужих слов знаем, особенно теперь, прочитав все, ранее запрещенное, что и как именно было, – но и тогда мы уже многое понимали» (с. 10). Переломным этапом в мировоззрении будущей исследовательницы стала смерть Сталина, с личностью которого были связаны надежды и чаяния миллионов людей. Кудрова описывает в книге свое участие в похоронах диктатора, а также «фейерверк эмоций», вызванный этим событием и последующим «галопом политических развенчаний». «Я и мои ближайшие друзья в этом жили, этим жили», – говорит она (с. 10). Затем последовали 1956-й и 1968-й с советскими танками на улицах Будапешта и Праги, которые проехали и по сердцам современников. «Семеро смельчаков на Красной площади – это были не мы, но... Мы твердили стихи Коржавина и Слуцкого, а потом песни Галича: "Можешь выйти на площадь? Смеешь выйти на площадь?"...», – рассказывает Кудрова о настроениях того времени (там же). В конце на страницах книги будет упомянут и митинг на Болотной площади 4 декабря 2011 года – знаменательное событие после «двадцатилетия тишины».

Духом свободы, однако, веяло уже раньше, после возвышения «колоритного и непредсказуемого Никиты» (с. 12). Публикация «Одного дня Ивана Денисовича» на страницах «Нового мира» вызвала воодушевление, которое было погашено постыдной историей с заграничной публикацией «Доктора Живаго». Внезапное

свержение Хрущева в октябре 1964 года породило «резкое расслоение оценок этого события в публике» (с. 11). В этом контексте в книге упоминается и драматичная деятельность редакционного коллектива «Нового мира». Сама Кудрова в 1964–1977 годах работала в редакции журнала «Звезда». Она вспоминает занятия с цензорами, на которые собирали редакторов, и раскрывавшиеся на них жуткие секреты советской действительности: «Помню, например, строжайший запрет, касавшийся процентных сведений о грамотности населения нашей страны; другой запрет воспрещал публиковать критические замечания о качестве наших трубопроводов» (с. 185). Помимо озвученных ограничений существовали и негласные установки; так, хотя прямого указания касательно сюжетов трагической окраски не существовало, «почти не было надежд на публикацию произведения о человеке больном, обреченном, погибающем при каком-то стечении обстоятельств» (с. 186).

Брежневские застойные времена, «не такие уж и плохие», запомнились автору не только цензурой, но и исключениями из Союза писателей, проработками, арестами и «выдворениями» из СССР. «Не менее остро, – вспоминает Кудрова, – пришлось переживать и нешуточные тревоги, и мрак, и сломанные судьбы близких друзей, которым нельзя было из-за пресловутого пятого пункта получить лелеемую специальность или, уже имея ее, устроиться на службу» (с. 12). В большинстве своем такие судьбы оказывались, как правило, несправедливыми. Тупик был разрушен перестройкой, которая запомнилась возвращением из ссылки Андрея Сахарова и окончанием афганской войны. «Почему сегодня все выглядит так мрачно? – риторически вопрошает Кудрова. – Да именно потому, что рассеялось обольщение, чара перестройки – и ведь никто нам насильно эту чару не внушал, сами себе внушили!» (с. 13). Тем не менее, благодаря той же перестройке, а также изучению биографии Марины Цветаевой – которая, как известно, эмигрировала в 1921 году, а вернулась в Союз лишь в 1939-м, – автору удалось начать общение с зарубежными специалистами, занимавшимися исследованием творчества поэта. Кудрова участвовала в международных конференциях и симпозиумах,

а также работала над закрытыми прежде материалами. Это позволило, в частности, с помощью архивных документов КГБ воссоздать судьбу Сергея Эфрона; Кудрова официально запрашивала в этом ведомстве протоколы допросов мужа и дочери Цветаевой.

«Уходит наше поколение – и даже, опередив наш уход, *ушла уже наша эпоха*», – пишет автор в завершении (с. 372). Мемуары Кудровой погружают в атмосферу тех лет, когда дети стремились к борьбе за мировую революцию, играли в шпионов и следователей НКВД, были свидетелями многочисленных «чисток» и безудержной войны со всякого рода «космополитами» и «отщепенцами». Позднее, после смерти вождя, повзрослевшее поколение стало избавляться от «идеологического морока»,

свидетельством чему и стала эта книга. «По мне, так наша жизнь прошла совсем неплохо, хотя бы потому, что она оказалась насыщена не пустяковыми, не кухонными, не денежно-вещевыми эмоциями. Мы делали каждый свое дело, как могли, и если мы не свершили в своей жизни подвигов, то успешно уклонились и от предательств. Колесо фортуны собрало нас на землю в минуты роковые этого мира, – и мы оказались вплотную у рампы грандиозного спектакля», – в этой апологии автор подводит итоги собственного жизненного пути (с. 15). Любой интересующийся советской эпохой найдет в этой книге что-то для себя: это замечательный литературный памятник, в котором соединились вместе поэзия и история, одна жизнь и целая эпоха.

Иван КОЗЛОВ

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ КИНО

Побочный эффект (реж. Стивен Содерберг)

Идея этой ленты возникла 10 лет назад у сценариста Скотта Бернса, который раньше уже работал с Содербергом. Фильм вошел в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля, причем было объявлено, что это последняя работа режиссера, который намерен уйти из кино. Отметим также, что Содерберг был в этой ленте еще и оператором, скрывшись в титрах под псевдонимом.

«Побочный эффект» – фильм, чем-то напоминающий «Окончательный анализ» Фила Джоану, вышедший двадцатью годами ранее. Те же непростые проблемы отношения психотерапевта с пациентками, двойное дно интриги и звездный состав главных исполнителей.

В ленте Содерберга на первом месте – дуэт Джада Лоу и Руни Мара. Лоу, которого мы привыкли видеть в ролях роковых красавцев, предстает перед нами в образе стареющего психотерапевта, одержимого страстью – не к пациентке, как мы могли бы предположить. Страсть эта сугубо профессионального свойства – понять причину кризиса юной Эмили, совершившей преступление. Сюда же примешивается и корпоративный интерес – участие в исследовании новых антидепрессантов, побочный эффект которых может стоить жизни вашим близким.

Как и в «Окончательном анализе», все оказывается замешанным на цитате – у Джоану из Фрейда, у Содерберга – из Нормана Мейлера. Даже в такой зыбкой сфере, как психотерапия, торжествует литературоцентризм!

За канделябрами (реж. Стивен Содерберг)

Еще один новый фильм Содерберга, снятый им в 2013 году и демонстрировавшийся на Каннском кинофестивале. В основу сценария легла скандальная мемуарная книга Скотта Торсона и Алекса Торлейфсона.

Молодой дрессировщик животных Скотт (его играет Мэтт Деймон) становится любовником знаменитого поп-пианиста Либераче (Майкл Дуглас), чья карьера началась еще в 1950-х. Разница партнеров в возрасте более чем велика, но вскоре оказывается, что оба нашли именно то, что им было нужно. Впрочем, для Либераче Скотт – отнюдь не первый, и, как выясняется, не последний любимчик. Через несколько лет отношения разрываются. Идиллия рухнула, как карточный домик – Скотт, сначала восторженно погружившийся в блестящий мир китча, оказывается в золотой клетке, а Либераче продолжает рассматривать его как свою собственность. Либераче в 1987 году умирает от СПИДа, а Скотт вскоре после смерти своего патрона издает скандальные мемуары.

Фильм получился – об одиночестве, одиночестве тотальном: и поп-звезды, и тех, кто греется в лучах его славы, а потом и любви. Все равно там холодно – так холоден блеск драгоценностей, которыми усыпаны помпезные костюмы пианиста.

Возраст Майкла Дугласа на момент работы над лентой был соотносим с возрастом Либераче, критики сошлись во мнении, что это одна из лучших его ролей. Зритель ни на секунду не забывает, что перед ним на экране Дуглас (особенно в «эротических» сценах), а характерный тембр голоса поп-звезды нет-нет да и напомним о том, что Дуглас недавно излечился от рака гортани.

Шальные деньги: Стокгольмский нуар (реж. Бабак Наджафи)

Стокгольмский юрист Йенс Лапидус написал роман, основанный на реальных событиях, с которыми ему приходилось иметь дело в силу профессии. Книга стала бестселлером, и Лапидус продолжил работу над текстом, заявив, что сага о шведских бандитах составит три тома.

«Стокгольмский нуар» – экранизация второй части, вышедшей два года назад. Ее желательно смотреть, держа в уме первый фильм «Шальные деньги», снятый в 2010 году Даниэлем Эспиной. Этот режиссер уже врос в Голливуд («Код доступа “Кейптаун”»), равно как и исполнитель главной роли в обоих фильмах Юэль Киннаман, который сейчас снимается в ремейке «Робокопа».

В «Нуаре» перед нами продолжает разворачиваться грандиозная панорама шведского криминального мира, как и везде – интернационального. Сербь, арабы, латиноамериканцы, коренное население состоят в сложных, порой враждебных взаимоотношениях и решают свои проблемы весьма жестоким способом. Кроме привычного оружия, это еще и «кидалово», тотальный обман, на который идут все – начиная от информаторов внутри закрытых сообществ, заканчивая respectable банкирами из высшего общества.

К сожалению, у второй «серии» сменился режиссер. Первая была снята и смонтирована настолько изощренно, что временами создавалось впечатление, что перед тобой артхаусный эксперимент, замаскированный под жесткий боевик. Вторая часть более традиционна, остается наблюдать за извивами сюжета и судьбами героев, с которыми уже сроднился.

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 18 октября 2013 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
<http://magazines.russ.ru/volga/>

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.